

А 521

Б КД
4289506

ISSN 0320-7447



АЛТАЙ

4. 1987

57289506



04

A521_{кр}

АЛТАИ

1987

4

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издается с 1947 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Вячеслав МОРОЗОВ. На зимней дороге. Рассказ	23
Сергей ОРЛОВ. Радость. Рассказ	29
Владимир БРОВКИН. Корова на луне. Рассказ	32
Александр ПЕШКОВ. Варя. Отрывок из романа	43

ПОЭЗИЯ

Ощущение крыла. Стихи молодых поэтов	15
Вольдемар ГЕРДТ. «Пора мальчишества была...». Стихи. Предисловие Э. Каценштейна	89

АДРЕСА ПЕРЕСТРОЙКИ

Сергей БРОВАШОВ. Бийский эксперимент	3
--	---

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Борис ЮДАЛЕВИЧ. Эмблема современности (Научно-техническая революция в литературе и критике)	92
Анатолий КИРИЛИН. Один из армии доброты	100

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Г. ДВОРЦОВА

Николай ДВОРЦОВ. Река времен. Предисловие Т. Дворцовой-Гущиной	66
--	----

БАРЦАУЛ. АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 1987

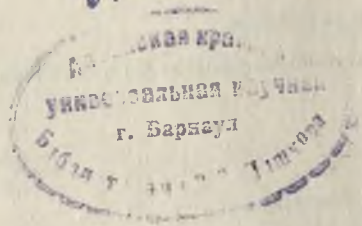
НАТАЛА

Главный редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, В. Ф. ГОРН, Е. Г. ГУЩИН,
Л. И. КВИН, Ю. Я. КОЗЛОВ, Я. Е. КРИВОНОСОВ,
Г. П. ПАНОВ, В. В. СУКАЧЕВ
(зам. гл. редактора)

61289506



АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1987 № 4

Художественный редактор В. Еранкин. Технический редактор М. Сафонова.
Корректоры Н. Тырышкина, Г. Ульяченко.

Рукописи не возвращаются

АГ 04170. Сдано в набор 16. 10. 1987 г. Подписано к печати 18. 11. 1987 г.
Формат 70x108^{1/16}. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 9,537. Уч.-изд л. 10,324.
Тираж 5000 экз. Заказ № 2439. Цена 50 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.
Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656015, пр. Строителей, 11-а. Тел. 2-14-53.

© «Алтай», № 4, 1987.

Сергей БРОВАШОВ

Бийский эксперимент

В Москву они приехали втроем: Сергей Мажейко, Дима Овчинников и Антон Рудольф. Праздные люди отправляются в столицу тратить деньги, а эти парни имели цель деньги добыть.

— Кто вы такие будете? — спросили их в ЦК ВЛКСМ.

— Ребята из Бийска, — ответили. Другой «визитки» для таких командировок у них тогда еще не было.

— Понятно, — улыбнулся ответорганизатор, имевший какое-то представление об Алтайском крае.

«Поскольку создалась реальная возможность строительства дома, — напишет позже в своих воспоминаниях для архива Дима Овчинников, — постольку необходимо было решить финансовые вопросы. Ну а поскольку их можно решать только в министерстве, то в Москву поехали мы — больше в общем-то некому было».

В ЦК ВЛКСМ им дали телефоны министерского комсорга. По этой ниточке и пошли. Овчинников с Рудольфом сидели в вестибюле на фоне невыносимо ярких кресел, маялись от нетерпения, а Мажейко смог-таки нырнуть наверх, в министерство, и попал к самому министру.

Министр деньги дал. Точнее — дал гарантию.

— Можно письменную? — разошелся Мажейко.

Министр и замминистра по строительству усмехнулись: мол, обижаешь, парень.

Пора было бежать вниз, к ребятам, неся в горсти долгожданную радость. Но Мажейко пошел за заместителем министра и сказал, что деньги на дом у них теперь есть, а вот проекта нет — институт Алтайгражданпроект отказал... Видно, если уж везет — так везет. Замминистра связался по селектору со своим Союзпромпроектом: «Сейчас к вам придет один парень — решите». И министерские проектировщики заверили: «К Новому году сделаем».

Потом они шли втроем по Москве, пьяные от счастья, и Мажейко изнемогал от проблемы «мыть или не мыть» руку, которую пожал ему сам министр? Но тут вспомнили: их предприятиям министерство «добро» дает, а как быть с будущим соучастником — бийским домо-строительным комбинатом? У него-то свое министерство.

И этот вопрос сумели прорешать. Да еще съездили в подмосковный Калининград, нагрузились опытом, записями, наглядной агитацией. Хотели было и в Казань, но что-то не получилось.

Москва златоглавая! А мы все говорим: бюрократия. Сели, поехали, пообщались с министром, договорились обо всем, как это водится у деловых людей.

И привезли добычу в Бийск.

А в Бийске, еще не зная результатов поездки спецкурьеров, уже открыли прием заявлений от желающих соревноваться за право стать бойцом комсомольско-молодежного строительного отряда, чтобы строить себе дом.

Строить себе дом... Согласитесь — какая-то не совсем привычная

нынче постановка вопроса? Ведь даже в селах жилье теперь возводят колхозы или совхозы, а в городе — ведомства и государство. Квартира или особняк приходит семье по очереди.

Говорят, уже в первые годы двадцать первого века этих очередей в нашей стране не станет. Последними получают жилье самые молодые. Это сейчас они молодые, а к тому времени, когда подойдет заветный час новоселья, можно будет и состариться. Общежития, даже если они есть, не ослабляют жажды своего дома, а только обостряют ее.

У Димы Овчинникова еще не было в жизни своего полноценного дома. Тот, в котором жил с отчимом, — не в счет, не помнится он чем-то светлым, уютным. Помнится улица далекого южного городка с полным набором суровых потех подворотни. С самодельными самопалами и своим жаргоном, с потасовками и неписанным кодексом добра и зла. Помнится день, когда ударил отчима за то, что тот избил мать. И был потом институт, студенческое общежитие. Почему-то иногда наступала усталость от людей. И тогда наполнял рюкзак, шел в горы, в лес, в ночь. Ночью, когда светит луна, кажется, что трава движется навстречу тебе, а впереди заступает дорогу кто-то таинственный, нераспознаваемый. И был фильм. Девушка, которую полюбили, глухонемая, научилась летать и разбилась, когда ее предали, только лишь мысленно. И он, потрясенный, побрел прямо через фонтан и только одно ощущал в тот вечер: если сейчас вот захочет — сумеет полететь. И было сожжение дневников из своего отрочества, когда понял, что все эти годы писал о себе, прихорашивая. И был беспокойный друг-приятель, который очень хотел понравиться одной девушке, но не знал как, какой костюм надеть, все спрашивал совета. И потом неожиданно для обоих: «Все, парень, я тоже вступаю в эту игру, я тоже хочу ей понравиться». И была честная победа и честный мордобой в день свадьбы.

И потом была дипломная практика в Бийске, по результатам которой лихо сумел оформить авторское свидетельство.

И вот теперь их уже трое, и надо успеть до приезда жены с невиданным еще сыном создать в этой крошечной общежитийской комнате если не комфорт, то хотя бы дизайн.

И он нарисовал на стене бабочку. А пол выкрасил в зеленый цвет и под потолком по периметру провел серебристую линию...

Общежитие станет отправной точкой.

...Однажды в туалете сломался сливной бачок. Пришли сантехники, перекрыли воду и ушли. Дима Овчинников взялся и починил. Только теперь надо было всем пользующимся вручную закрывать и открывать вентиль. Прошел по комнатам, объяснил. И уехал в отпуск. Вернувшись, понял: никто и не думал закрывать вентиль. Замерил банкой сток, помножил и вдруг осознал, что с его легкой руки у государства украдено 500 (!) тонн воды. И тогда сел писать объяснительную: «Я украл» и, подчеркнув, что не сошел с ума, спрашивал: «Как можно возместить ущерб?»

А потом не поверил сантехникам, что в их общежитии нельзя сделать гидроизоляцию, засучил рукава и соорудил душ. А однажды раздобыл плитку и пошел облицовывать ею кухни — один на виду у курьихищников. И когда в одном из отсеков курьихищники потом отодрали плитку и перекреили по-своему, Дима Овчинников в который раз убедился, что не декларации и не сентенции движут миром, а поступки, действие.

Уже зарождалась у них дружба с молодым инженером Анатолием Притулой, уже отметил для себя напористость заместителя секретаря комитета ВЛКСМ Сергея Мажейко. Это прекрасный праздник узнавания в другом человеке «своего» через наблюдение ли, через разговор, через совместное уже молчание...

С «подачи» Мажейко Дима Овчинников прорвался на идеологическую оперативку одного из курирующих предприятий. Показал фотогра-

фии с общежитийским «негативом», доложил результаты собственного исследования среди молодых специалистов, большинство из которых не видят близкой перспективы получения жилья и поэтому собираются уезжать. Директор подумал, поднял своего заместителя по строительству и попросил рассмотреть возможность строительства одного или даже двух домов только для молодых специалистов.

Было это 9 или 10 апреля 1984 года.

Из воспоминаний Димы Овчинникова: «После того как зам по строительству рассмотрел, обнажился провал: некому этим делом заниматься. По-моему, все должен был бы взять на себя районный совет молодых специалистов. Но он не взял. И потому образовалась группа энтузиастов: Мажейко, Притула и я».

В конце апреля зам по строительству огорошил: «Если вы хотите строить дом, то шансов у вас нет. Место отведено под поликлинику. Главный архитектор переименовывать не будет».

— Нужно съездить в горком комсомола, — подал идею Мажейко. — Может, через Фролова удастся уломать архитектора.

Первый секретарь горкома ВЛКСМ Николай Фролов помочь согласился. Главный архитектор отдал-таки место под дом, только запретил уничтожать растущие там сосны и потому вычеркнул из нарисованной ребятами схемы четыре секции из четырнадцати. И еще нужно было решить вопрос со сносом индивидуальных гаражей.

— Ну а строить-то как думаете? — спросил напоследок Фролов.

— Не знаем.

— Возьмите тогда вот этот номер журнала «Юность», там есть интересная статья об МЖК. «Мы сами» называется. Заинтересует — могу посодействовать вашей поездке за опытом в Свердловск.

Из заключения Димы Овчинникова: «Мы не изобретатели, потому что не придумывали МЖК, а только переняли и внедрили опыт других».

Верно. Начинали калининградцы, дальше всех пошли свердловчане, было к тому времени и еще несколько адресов по стране, где получил прописку МЖК. Бийчане если и были первыми, то в масштабах Алтайского края. Но не будем фетишизировать приоритет. Первые изобретают, вторые тиражируют. Кажется, проще некуда. Но бийские эмжековцы должны были оказаться не менее смелыми, горластыми, самоотверженными, чем свердловчане. С лихвой выпало им и выпадет еще и тупиковых ситуаций, и драм, и трагедий.

Новое, если оно не встречает яростного сопротивления, не заслуживает права называться новым. Когда группа бийских энтузиастов пустила в обращение эту аббревиатуру МЖК, начались дебаты.

Первое собрание носило информационный характер, и люди в зале высидели спокойно. Но что-то уже назревало. Кое-кто из аналитиков уже вычленил опасность предлагаемого. Вместо обычной, спокойной очереди на жилье, а для молодых специалистов она льготная, — «пахота». Сначала на субботниках, соревнуясь за право стать бойцом комсомольско-молодежного строительного отряда. Потом для тех, кто победил, — год работы на домостроительном комбинате, в кирзе, ватниках. И надо давать минимум 140 процентов выработки кадрового рабочего панельного производства, чтобы на свою квартиру изготовить стены и еще на одну такую же для города. Иначе ДСК не согласился бы. Ведь дом-то внеплановый... Нет-нет, лучше строительство молодежного дома отдать под эгиду совета молодых специалистов. И сохранить очередь.

— Очередь не соответствует социалистическому принципу распределения по труду. Она — лишь формальный намек на абстрактную справедливость, — доказывали свое эмжековцы. — Соревнование неизмеримо точнее.

Очередь, конечно, бывает разной. Большой и поменьше. Обычной и льготной. Живой и по записи. Очередь стала для всех нас настолько привычным делом, что мы порой становимся, не спросив даже, что да-

ют. Сколько же личного и общественного времени потрачено на это нудное продвижение к заветной цели мелкими шажками в час по чайной ложке. Стоишь и чувствуешь собственное бессилие что-либо изменить, ускорить. Очередь всегда замедляет, в очереди всегда теряешь и время, и нервы, и ритм. И все это складывается потом в потерю еще более невосполнимого — потерю качества и количества жизни. За бортом очереди остаются непрочитанные книги, неосуществленные встречи с друзьями, недовоспитанные дети...

Но что поделатъ, если очередь — прямое следствие дефицита, она возникает только тогда, когда спрос превышает предложение, она всегда куда более справедлива, чем неорганизованный навал на прилавок или пресловутый блат.

И тем не менее молодые страшно не любят стоять в очереди. Это не их стиль, не их ритм. У молодых слишком много дел. Стать человеком, личностью, специалистом, стать семьянином, потом отцом или матерью... Нет, нелегко быть молодым. Это однозначно. А очередь все же формируется по старшинству. Дольше работаешь — выше зарплата, должность, уважение, дольше живешь — лучше жилищные, бытовые условия... Разве не так? Так. А можно ли по-другому?

Идея МЖК возникла из размышлений молодых в очереди на жилье. В этой очереди, в которой «на подходе» можно увидеть еще и ветеранов войны, хочется или состариться побыстрее, или даже инвалидом быть. Довод: дайте мне квартиру побыстрее, так как я хочу нормально жить, обзавестись семьей, детьми — это не основание для льгот. И тогда кто-то где-то раскопал такую цифру: ежегодно в стране не осваивается 11—13 миллиардов рублей, выделяемых на строительство жилья. И мы стоим, ждем?! Айда строить!

Эти неиспользованные средства из государственного, а чаще ведомственного кармана всяк добывал по-своему. Два пассивных начала: пропадающие деньги и пропадающая без использования молодая мышечная сила сомкнулись со страстным нетерпением иметь свое жилище и стали социальным изобретением, достойным наших дней. Суть его предельно проста: через соревнование отбирать лучших и давать им право своим трудом приобретать больше.

Из доклада М. С. Горбачева на июньском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС: «Основной принцип социализма «от каждого — по способностям, каждому — по труду» на практике нередко приносился в жертву упрощенно понимаемому равенству. Эти вопросы сегодня активно обсуждаются — и не только в экономическом, но и в нравственном, этическом плане».

Изобретать, к сожалению, пока нередко бывает легче, чем внедрять. И это не только у нас. Как-то Дима Овчинников вычитал в американском журнале, что «у них» тоже самый большой дефицит не на изобретателей, а на новаторов — тех, кто умеет сделать идею реальностью. Любая система, даже самая плохая, стремится к самосохранению, противится любым новациям, тем более «самостийным».

МЖК в Бийске возник, как кукушонок в чужом гнезде. Он не мог расти, не затрагивая других. Ладно, оппонентов из совета молодых специалистов понять можно — там правила бал те, кто стоял в очереди ближе всех к исходу. Но и райком комсомола увидел в МЖК какую-то опасность для себя. Ведь получалось, что нарождается новый орган, конкурирующий в степени влияния на молодежь! Вы слышали, молодежь теперь заявляет: «Не будем играть в комсомол, а будем играть в МЖК». Хитрые, конечно, эти «ребята из Бийска», нашли чем позвать к себе — квартирой.

Это мы раньше считали, что комсомол — он везде. А теперь увидели: только там, где завоеует свои позиции.

Труднее всех приходилось Сергею Мажейко. Ведь был он освобожденным комсомольским работником, а душа и мысли его были отданы

МЖК. Комитетчики, подогреваемые оппонентами из совета молодых специалистов, кричали: «Отрекись!» Эмжековцы просили: «Отстаивай!» Было много всего... Когда Мажейко избрали потом первым секретарем Приобского райкома комсомола, оппозиция написала гневное письмо в Москву: не по правилам избрали, не того, не по-нашему. Сергей стоял посреди пленума и подзадоривал: «А я считаю себя достойным. Не согласны? Давайте спорить». Спорить с Мажейко в открытом ближнем бою очень трудно. Он человек атакующего плана. Не зря же смог пробиться к самому министру и выпросить денег.

Пройдет время, и Дима Овчинников по собственному желанию будет избран членом бюро Приобского РК ВЛКСМ. Дима, который на первом этапе противопоставлял свой МЖК комсомольской работе. Не должно быть такого противопоставления. МЖК сполна отвечает установкам Союза Молодежи. А в Бийске, как впрочем, и во многих других местах, он провел водораздел между консерватизмом и новаторством, бумажным стилем работы и живым, конкретным. Соответственно поделились и люди.

...Пока оппозиция собиралась с силами, «ребята из Бийска» успели «протащить» через райком комсомола решение об утверждении инициативной группы. Председателем стал Дима Овчинников.

Из анонимного письма: «У одного из авторов статьи об МЖК Л. Треера есть юмористический рассказ «Феномен крокодила Симы». А у нас есть «феномен Овчинникова Димы». Именно его необычайное красноречие (феномен крокодила Симы — умение говорить), обилие примеров и, главное, — вера в то, что МЖК необходимо строить как можно скорее...»

...Собрание шло за собранием. На утверждение инициативной группы оппозиция ответила ее непризнанием. На предложенный вариант положения о соревновании за право быть бойцом КМСО — своим вариантом. Феномен Димы Овчинникова оказался небеспредельным. Когда он стоял однажды на трибуне и ему не давали говорить, когда каждый хотел так переиначить положение о соревновании, чтобы ему выпало больше других, Овчинников выдохнул в микрофон: «Ребята! Ну как же вы не понимаете? Да я никогда не мог подумать, что начнется такое рвачество. Да если так, то я вообще отказываюсь жить в этом доме».

Бабочка на стене в общежитийской комнате Овчинниковых уже четыре года. И их уже четверо. Мебель, которую Дима вознамерился сотворить своими руками, остается недоделанной. Комнатный огурец, который он взялся выращивать в банке на окне, не плодоносит. Сынишка очень часто болеет, и Ираида то и дело уезжает с детьми к своим родителям.

— Может, мне уже пора отползти? — спросил однажды Дима, имея в виду свой публичный отказ от квартиры в первом эмжековском доме.

— Парень, — сказала Ира, — будь мужчиной.

Вот так всегда. Проигрывает Дима и своей жене в философских спорах. Жене, воспитанной на «всемирке», умеющей взлететь над фактом, поднять его до уровня концепции. Жене и еще Толе Притуле. Он, Дима Овчинников, будет кипятиться, изнемогать от эмоций, бить ладонью об пол, а Притула послушает молча, усмехнется, выдаст точный тезис и был таков. Когда однажды Овчинников и еще некоторые члены инициативной группы не выдержали очередной «кукарачи», покинули собрание, то Притула не ушел, остался и продолжал бой. И Ираида тоже осталась, сидела до конца. Когда однажды их встретили «фрайера», Овчинников приготовился драться, а щуплый Притула спокойно пошел вперед, и перед ним расступились.

Из наблюдений Овчинникова: «Я сейчас живу на режиме максимальной тяги, а Притула идет крейсерской скоростью. На максимальном пределе пользы обществу принесешь меньше. Притула работает на са-

мом экономичном режиме (могу показать это на графике, на интеграле). Нам нужны сейчас экономичные люди».

— Комплексую. Только стараюсь недолго.

Они посидят в крайисполкоме, послушают, не согласятся с проектом положения об МЖК в крае и предложат свой вариант. И с этим нельзя будет не считаться. Потому что у бийских эмжековцев перед всеми другими в крае есть преимущество. Есть первый заселенный дом, построенный своими руками! «Домик бело-голубой, с бусинками красными. Всем он нравится такой — яркий и прекрасный». И есть теперь график строительства объектов МЖК-1 до 1997 года. Пятнадцать (!) жилых домов, школа с заводом, два детских сада, молодежный культурный центр, поликлиника, гаражи... Сметная стоимость всех объектов — 38,5 миллиона рублей! Всего-то в этом «тресте» не наберется и десяти освобожденных работников, даже печати и счета в банке не было до последнего времени. Была всего одна комната — сейчас стало две, в которых немисливо представить себе спокойное чаепитие, а по телефону можно говорить, только зажав свободное ухо ладонью, некогда закапываться в бумаги и поэтому приспособили на стену школьную доску с мелом. Рабочая сила — постоянно меняющиеся бойцы комсомольско-молодежных строительных отрядов, которых администрация на год освобождает от основной работы. Индустриальная база — цеха домо-строительного комбината, куда пускают бойцов при условии, что они будут трудиться в полтора раза производительнее, чем положено по норме.

Сейчас всем руководит уже не инициативная группа, а оргкомитет. Его председатель — Дима Овчинников.

Из высказываний оппонентов: «Овчинников появился очень вовремя. Двумя годами раньше у него ничего бы не вышло. Двумя годами позже — уже кто-то был бы на этом месте».

— Моя модель жизни, — сказал Овчинников, — соответствует духу времени. Но не думаю, что она окончательна.

Фрагменты модели.

...Поздно вечером зайти на кухню, взять ничейную вилку и открыть ею дверь в свою комнату с бабочкой на стене. И ощутить, что жена с детьми снова далеко, у своих родителей. Приготовить себе традиционный ужин из двух-трех яиц. Вспомнить, что уже который день не может получить посылку от бабушки. Врубить магнитофон, о существовании которого Ира пока не знает. Полить огурец в банке на стене. Сыграть с соседом по коридору в шахматы. Блиц под рок — это хорошо!

...Кричу на подчиненных? Разве? А что они, как мальчишки, возьмется. Говоришь им: работайте с подключением, берите людей, устраивайте мозговые атаки. Иначе же не успеть! Нет, везут все на себе.

...Единственный способ избавиться от всего этого многократного перегруза — привести все в систему. В какую?..

...Мы еще не представляем себе, насколько МЖК меняет людей. Каким он будет, когда станет повсеместным, затрудняюсь сказать. А пока такой и нужен: сзывать лучших и давать им больше. Таков закон социализма. Вот только действительно ли лучших отбираем мы?

...Знаешь, чего мне сейчас особенно не хватает? Знания марксизма-ленинизма, четкой классовой позиции. Хочу отвлечься как-нибудь от всего и почитать Ленина. Эх, как хочется иногда быть гением!..

А утром — телеграмма от жены. Сынишка снова приболел. И некогда заказать телефонные переговоры, потому что идет очередная мозговая атака, великолепный до одури спор у школьной доски. И лукавый Притула доводит до белого каления своим спокойствием, потом берет мел и начинает писать свою формулу, бесспорную.

Вечером по тихим переулкам они пройдут ватагой до конторы домостроительного комбината, ввалят, радушно встреченные на пороге, в кабинет, хозяин которого уже не держит зла на подстроенный ими

выговор по партийной линии. Обе стороны сядут за столы и будут допоздна решать мудреные, обоюдоострые проблемы. И Дима Овчинников снова не усидит на стуле, будет гарцевать по кабинету в своем невозможном экстравагантном свитере, связанном женой в декретном отпуске, в джинсах и грубых туристских ботинках, будет впадать в крайности, отмахиваясь от призывов Притулы к спокойствию. И так на разных режимах они поведут очередное дело к победе или, на худой конец, к ничьей. И когда потом кто-то из эмжековцев задержится в приемной, Овчинников поторопит его с улицы метким снежком в окно.

И все это — настоящее. Будущее свое Дима Овчинников не представляет в деталях. Одно только знает: уходить ему из МЖК теперь уже скоро. Нужно уходить. Потому что когда новые люди, пришедшие, чтобы работать рядом с тобой, начинают смотреть на тебя снизу вверх — это явное не то.

Вот доработают они с Притулой некоторые принципиальные вопросы и уйдут. Куда? За Притулой — хоть на край света. Если, конечно, позовет.

Вернуться в отдел, взяться за работу и догнать тех, с кем когда-то начинал. А что — не бездари же.

Уже многие отошли от МЖК. Сергей Мажейко — первый секретарь Бийского горкома комсомола. Антон Рудольф стал комсоргом. Мучается, бедняга, поиском главных направлений работы, чтоб все пошло как в МЖК — неформально, изнывает от необходимости присутствовать в качестве «свадебного генерала» на разных мероприятиях. Николай Фролов избран секретарем парткома крупного предприятия. Но все это относительно. Из бийского МЖК-1 все уходят не прощаясь, без торжества. Потому что не уходят, не могут отдалиться на столько, чтобы никаких контактов.

Одного члена оргкомитета они просто выгнали. Слишком рьяно увлекся «неформальными» путями решения проблем. Конечно, они все работали неформально — как иначе раскрутить такое строительство, не имея никакого официального статуса. Но нельзя же переступать грань, уповая на то, что цель оправдывает средства. Ведь и без того хватает обвинений.

Однажды Дима Овчинников и его команда пришли на заседание профкома:

— Хотим строить детский садик, — заявили. — Построим быстро и надежно. Без нас этот садик будет строиться до двадцать первого века.

— Отлично, — сказали члены профкома. — Стройте.

— Только за это мы хотим взять весомый процент мест в том детском садике.

— Ишь чего! Микрокоммунизма для себя захотели?! Лучше пусть садика вообще не будет.

Амбициозная логика!

Скорчился Дима Овчинников, стоящий посреди заседания, так сдвинуло, что никакие аутогенные ухищрения не сработали, и выбежал из кабинета. Потому что они — «ребята из Бийска» — действительно думают о коммунизме. Пока не в мировом масштабе, а в масштабе МЖК.

«МЖК — это прообраз того, как люди должны жить в будущем».

Однажды в их штабе вдруг стало непривычно тихо. Анатолий Притула, их Робеспьер, предложил каждому ответить всего на один вопрос: «Какова, по твоему мнению, конечная цель МЖК?» Письменно.

Анатолий Притула: «Создать условия жизни членам комплекса МЖК. Способствовать их гармоничному и всестороннему развитию. Создать атмосферу высокой социальной ответственности и коллективизма. Условия должны создаваться за счет резервов повышения социальной активности жителей МЖК».

Сергей Поздеев: «В идеале считаю, что должен сложиться коллектив, способный самостоятельно решать все внутренние задачи».

Евгений Порубов: «Сократить время на обеспечение жизни — то есть на приготовление пищи, уборку, ремонт, стирку и так далее. Для этого создать на базе МЖК комплекс услуг населению, задействовать школьный завод, на базе спорткомплекса организовать систему профилактического оздоровления детей. На базе культурного центра развернуть систему всестороннего удовлетворения потребностей в отдыхе и культуре, причем основой должно быть творческое начало, а не пассивное восприятие. Добиться организации Совета народных депутатов по месту жительства. В конечном итоге количество перерастет в качество и поставит сознание человека на новую ступень».

Дмитрий Овчинников: «Привить и закрепить у жителей МЖК (особенно у детей) чувство хозяина, уничтожить равнодушие, индивидуализм, стяжательство, воспитывать коллективизм. Создать коллектив, способный без притока энергии извне интенсивно самоуправляться и развиваться».

Антон Рудольф: «Самим решать вопросы жизнеобеспечения комплекса, причем не таким путем — «все средства хороши», а быть примером детям».

Геннадий Богданов: «МЖК должен изжить негативные явления. Ввести в нашу жизнь элементы коммунистического общежития».

Первый дом, первый их корабль в будущее, уже сияет на солнце бело-голубыми боками, звенит детскими голосами. Первая радость. И первая боль.

В воскресенье Дима Овчинников спускается в подвал, идет по его лабиринту. Здесь, возможно, будет радиостудия, здесь — мастерская... Будет?! Дом заселился год назад, а рыхлая земля здесь, в подвале, еще не притоптана. Вот стоят металлообрабатывающие станки. Их выделило предприятие, их опустили сюда в «трюм» краном еще до возведения стен. А до сих пор не заправлены резцы, только ржавчина начала свою работу... Дима Овчинников зло чиркает пальцем по холодному металлу. Когда ржавчина — больно.

Потом он сидит в комнате совета МЖК. За стеной слышна музыка, разучивают танец дети. Дима Овчинников нахохлился, молчит. То ли приходит в себя, то ли думает.

Подумать есть над чем. МЖК они теперь уже построят: и дома, и соцкультбыт... И у оппозиции нет теперь на сей счет сомнений. Даже те, кто стоял в льготной для молодых специалистов очереди на выходе, не выдержали, создали свой отряд. Комсомольско-молодежный строительный отряд «Ветеран». Каково звучит, а?! Ладно, пусть выпендюриваются, пусть называют себя как хотят. Отряд — это сообщество временное. Год-полтора — и разбежались.

Потом что будет?! Когда расставлена в новых квартирах мебель и вбиты все гвозди.

Первый дом научил их строить. Теперь нужно учиться жить по-эмежековски. Ни чертежей, ни смет, ни даже чужого хотя бы опыта.

— Ну, так-то жаловаться не приходится, — пытается обнадежить председатель совета МЖК Геннадий Богданов. — Кого о чем ни попросишь — отказов нет. И в подъездах сами убираем, и детишек находим чем занять... Ну, конечно, пока не «фирма», но ведь у каждого семья, работа... Мы вот тут анкетирование провели среди жильцов: «В какой мере оправдались ваши ожидания?» Большинство отметили, что не в полной.

— В клетке пляшет крокодил, — перебивает Дима Овчинников, — как он в клетку угодил? Вот проснемся, разберемся... Дай-ка глянуть анкеты.

— Гляди. А то ты ударился в строительство, а здесь все запустил.

Молчит Овчинников, терпит соль на ране. Разве Богданов не знает, что домостроительный комбинат начал «химичить» — отправлять изготовленные бойцами МЖК панели на свои первоочередные объекты, что пришлось раздуться вопрос до уровня бюро горкома партии, что надо снова ехать в Москву выбивать финансирование на будущий год... Но, если честно, то вся эта строительная «кукарача» сегодня куда проще, чем социальные проблемы. Строить по-новому легче, чем по-новому жить. Здесь не профессию надо менять, а мировоззрение, и не на год, а насовсем. Когда строили — все были лучшими, когда соревновались — такие баллы отхватывали за общественную работу. А теперь... Один вот пишет в анкете: «Нормальный ход, ребята, большего я и не ждал, кончайте все эти детские игры». Другой стенает: «Скучно, обидно, не погубите идею!»

Здесь все надежды теперь на Притулу. Он теперь главный идеолог всей эмжековни, он конструирует комплексную социальную программу. Ему поручили.

То, на чем и калининградцы, и свердловчане забуксовали.

Весной бийский МЖК-1 первым в крае приглашал гостей-единомышленников. Думалось, что эта мозговая этака хоть немного продвинет, хоть какими-то элементами пополнит социальную программу. Но все пока топчутся вокруг программы строительной.

Как же создать в этом бело-голубом доме новый уклад жизни, чтобы не разбегался молодой народ по своим квартирам, как по щелям, чтобы всем вместе — коммуной — и отдыхать, и совершенствоваться, и детей растить?..

Из газеты «Комсомольская правда» (24 мая 1987 года): «Тут... даже о феодализме наши обществоведы больше задумывались, чем о грядущем обществе — коммунистическом... Гораздо больше думали об этом социалисты-утописты, и в особенности Оуэн и Фурье... Известно, что во всем мире существуют сегодня многие тысячи коммун, да нам про них мало известно».

В детстве и даже позже Дима Овчинников мечтал построить самолет. Такой, чтоб летал. Но улица, потом институтская среда не позволяли думать об этом конкретно. А вот теперь в рамках МЖК мечта становится реальной. Может, и не самолет начнут они с ребяташками строить, а тренажер. Представляете: в «колодце» из четырех стен снизу дует такая мощная струя воздуха, что можно парить, как космонавты в невесомости.

Мечты, мечты... В подвале одного из общежитий можно увидеть, когда зажжешь спичку, стилизованные фрески на стенах. Еще до МЖК здесь хотели организовать клуб молодой семьи. Взялись было с жаром, но когда помещение обрело благоустроенный вид, то вдруг всем стало ясно: семьи есть, клуба не получится. Собрались раз-другой, посидели, поскучали и полностью остыли. Была еще попытка создать клуб самодеятельной песни. Дима Овчинников сносно играет на гитаре, его жена прекрасно поет — у нее редкий низкий голос. Но и здесь ничего не вышло. Песни пели вместе, а молчали каждый о своем.

Сколько у нас дел, которые могли бы объединить: подвальное помещение, гитара, металлорежущий станок, детская площадка во дворе, необитаемый остров на Оби... А муравейника пока не получается. Может, все дело в какой-то одной-единственной идее, которая озарила бы первый эмжековский дом и последующие теплым светом коммунизма, сделала бы роскошь человеческого общения необходимостью? Нет, с этого конца проблему не решить. Одна-единственная идея дома, построенного своими руками, позволила сплотить молодежь в МЖК, сделать его популярным. Но здесь результат — конкретный, зримый. Берешь ключи от новой квартиры, открываешь по-хозяйски дверь и сразу вырастаешь в глазах молодой жены до уровня настоящего мужчины. А дальше?

Думай, Притула, думай!

Значит, так... Материальной базой МЖК являются жилые дома, объекты соцкультбыта. Его состав по первому дому — молодые люди, средний возраст которых — меньше тридцати лет. Из 258 жителей 102 — дети до 14 лет, которых семьи воспитывают без помощи дедушек и бабушек. 80 процентов взрослых членов МЖК — активные общественники (многие стали таковыми, пока соревновались за право стать бойцом КМСО, за общественную работу здесь начислялись баллы). Большого, как говорится, и желать нельзя. Но все наши намерения, действия жестко лимитируются главным ресурсом — временем. Ну-ка, сосчитаем. Вот, полюбуйтесь: жители первого дома МЖК по сравнению с рациональной структурой распределения времени в неделю на 3 часа меньше спят, на 4 часа больше работают на производстве, на 11 часов больше тратят на домашний труд, на 12 часов меньше отдыхают...

Из гипотезы Анатолия Притулы: «Советское общество находится на том этапе, когда высокий уровень духовных и материальных потребностей людей пока имеет низкий уровень их удовлетворения. Созданные на добровольных началах молодежные коллективы по месту жительства ускоряют снятие этого противоречия... Использование внутренних резервов такого коллектива позволяет частично обеспечить удовлетворение материальных и духовных потребностей на уровне, близком к социалистическому идеалу».

Из плана социального развития МЖК-1: «Как показывает практика, имеющиеся индивидуальные потребности людей формируют индивидуальные, а не коллективные формы их удовлетворения, и этот процесс все время разрушает объединение людей по месту жительства. Организационные трудности коллективной деятельности по месту жительства оказываются настолько велики, что люди предпочитают решать все свои вопросы сами, индивидуально. Примером того, как можно разорвать этот замкнутый круг, является строительство жилья по принципу МЖК. Налицо все этапы формирования коллектива из не связанных ранее ничем людей».

Простим Притуле усложненный, сухой, научный стиль. Он все же не Оуэн и не Фурье, и не эксцентричный Дима Овчинников, да к тому же стопроцентный технарь по образованию и по профилю. Выступает Притула тоже сухо. Но его рассказы об МЖК по-прежнему вызывают бури эмоций, как это было в пору зарождения эмжековни. Не выдержал сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Академии наук СССР А. Троцкий, когда Анатолий выступал в краевой комсомольской школе, вклинился и сказал, что идея МЖК в корне неверна, что в хорошо организованном обществе пироги все же должен печь пирожник, а дома строить — строители. В перерыве Притула подошел к этому социологу, кандидату наук. Два с половиной часа беседовали они, и этого оказалось достаточно, чтобы Троцкий не только полностью изменил свое представление об МЖК, но и согласился прорецензировать созданный под редакцией Притулы проект социальной программы.

— Только оценивать буду по большому счету, — предупредил.

— А как же иначе? — удивился Притула.

Долго ученый читал проект, еще дольше писал. С первых страниц стало ясно, что работа не может претендовать на степень научной. У автора явно не хватает теоретических представлений. Он явно не ученый. Ученый знает за собой не только то, что он может, но и что не может. Здесь же любой ученый не смог бы. Ведь метод социального экспериментирования — белое пятно во всей отечественной, да и зарубежной, социологии. Она пока только анализирует уже произошедшее. А эти «ребята из Бийска», ничтоже сумняшеся... Явные дилетанты смело взялись за теорию... Любопытно, черт побери! Он, кандидат наук, занимающийся проблемами общества, не смог бы написать лучше и полнее.

Куда уж полнее. Два десятка разделов, полный охват. Программа «Оздоровление». Программа «Досуг». Программа «Социально-педагогический комплекс». Формирование социалистических традиций и обычаев. Утверждение здорового образа жизни. Баланс трудовых ресурсов МЖК. Баланс общественного богатства МЖК...

— А знаете что, — сказал Троцковский Притуле, отдавая рецензию. — Сейчас идет речь о создании в Сибири Института экономической социологии... Короче, подумайте об этом применительно к себе.

Кандидат исторических наук, сотрудник Алтайского пединститута А. А. Паршуков разменял уже восьмой десяток. Участвовал в создании первых колхозов, долго был на партийной работе. Александр Афанасьевич тоже крепко помог Притуле. Ему очень понравилась сама идея, в которой есть немало общего с идеей первых коммун. Помогая Притуле, он не признавал никаких проволочек, безжалостно отчитывал, когда Анатолию не удавалось приехать из Бийска в строго назначенный час. Любое серьезное дело требует точности.

Вот это и есть неформальный метод решения вопросов. Увлеченные идеей МЖК до самопожертвования, «ребята из Бийска» умеют крепко заражать ею других людей. Если и не взламывают бюрократию, то, по крайней мере, не признают ее. В любой кабинет идут без дрожи в коленках. Умеют обкладывать самых несговорчивых. Умеют уже теперь, когда есть реальная сила, и демарши устраивать. При всем этом Дима Овчинников переживает: они же постоянно имеют дело с чиновниками. Как бы не заразиться.

Социальная программа бийского МЖК-1 разрабатывалась, конечно же, не одним Притулой — такой метод здесь не в чести. Всю зиму, раз в две недели, собирались семинары, в которых участвовала созданная Притулой социологическая группа, на которые приглашались все заинтересованные лица: и соревнующиеся, и бойцы, и жители бело-голубого дома, и учителя, врачи... Народ шел! Оказывается, это интересно каждому — создавать модель жизни, близкой к социалистическому идеалу.

А разом с проработкой концепций шла проработка практическая. Притула связался с молодыми сотрудниками Алтайского медицинского института, те согласились попытаться создать на базе первого эмжековского дома медицинскую систему оздоровления. У нас ведь как водится: живем, работаем, пока всерьез не заболеем. А потом только идем в больницу, и там врачи вылечивают пока лишь 30 процентов болезней.

И вдруг — повод для размышления. Приехали молодые сотрудники пединститута, развернули свою аппаратуру, и молодой народ из бело-голубого дома начал срывать графики обследования. Самонадеянно не понимают цели диспансеризации, методику самоконтроля.

Притула, конечно, пришел вовремя. Оказалось, что у него, всегда спокойного с виду, — повышенная эмоциональная возбудимость, особенно пульс подскакивал, когда шла проверка по интеллектуальному тесту. Но врачи успокоили: стрессы у вас проходят быстро, это безвредно для здоровья.

Из плана социального развития бийского МЖК-1: «Стратегические задачи. Создать систему торгового обслуживания микрорайона по возможности наиболее приспособленную к потребностям людей. Проработать вопрос о заключении договоров с колхозами на установку постоянных фирменных палаток. Организовать изучение спроса на наши товары (выпускаемые предприятиями, школьным заводом, общественными мастерскими). Создать бригады для ремонта квартир. Предусмотреть возможность легкого дешевого завтрака жителей микрорайона по дороге на работу (например, овсяная каша, чай — в сумме 15 коп., а экономится полчаса утреннего времени семьи). Организовать межсоседскую кооперацию по присмотру за детьми. Проводить курс первичной и частично вторичной профилактики болезней. Создать традиции микрорай-

она: «Коммунизм начинается с самоотверженной заботы каждого не только о близких, но и дальних людях». В. И. Ленин. «Великий почин».

Из высказываний Димы Овчинникова: «Я не понимаю, как можно говорить о перестройке абстрактно. Перестройка — это действие. А оно всегда конкретно».

Уже третий дом растет в бийском МЖК-1. Уже полтора года, как есть у оргкомитета своя печать. Уже стихли оппоненты. Уже доросли «ребята из Бийска» до разработки концепции, теории. Но нет во всей биографии первого на Алтае молодежного жилого комплекса ни грамма бюрократического «вообще». МЖК-1 начинался эмпирически, складывался из собранных поштучно там и сям конкретных кирпичиков. Но и сейчас, когда МЖК стал солидным предприятием, поражаешься мизерному управленческому штату. Официально есть теперь всего-навсего одна штатная должность начальника штаба краевой ударной комсомольской стройки с окладом в 175 рублей, которую недавно занял Дима Овчинников. До этого все девять ставок были, прямо скажем, полуполюгальными. Часть от предприятий, часть от домостроительного комбината. Потом их сократили до четырех, МЖК по-прежнему остается неформальным объединением. Госстрой СССР только собирается предоставить его руководящим органам ранг дирекции строящихся предприятий. Нет научного обоснования МЖК, нет четкого юридического статуса. Можно радоваться: налицо торжество нашей демократии, когда общественное движение вырастает до таких масштабов. А можно и печалиться: до сих пор неожиданно возникают осложнения. То домостроительный комбинат вдруг снова начнет какую-то тихую тяжбу, то предприятия попытаются прикарманить выбитые ребятами деньги в Москве, то городские власти тянут с утверждением строительной программы... Короче, не трест, а автомобиль на двух колесах. И надо быть виртуозом, асом, чтобы продолжать движение, не завалиться. Нет, не случайно сотрудники из медицинского института сказали некоторым эмжековцам, протестировав их здоровье, что непонятно, как они выдерживают высокий объем нагрузок с таким здоровьем. А каждому из них нет и тридцати. Вот доведут они до ума оставшиеся проблемы принципиальной значимости и уйдут.

Анатолий Притула ушел в начале лета. Ушел, когда разработал социальную программу и методику ее внедрения. Между прочим, насколько не отстал от тех, с кем когда-то начинал на производстве, — дали ему вполне солидную должность. Его руководитель считает, что, помимо всего прочего, МЖК — это лучшая школа управления, что здесь рождаются и возрастают готовые командиры производства.

А что же Дима Овчинников, готовый за Притулой хоть на край света, если, конечно, тот позовет? Не позвал? Тут другое. Парень, которого Овчинников готовил на свое место, вдруг выдвинул свою программу, которая вызвала в оргкомитете внутреннюю дискуссию. Пришлось и райком подключить, чтобы не допустить большого разлада. Некстати все это, ох, как не вовремя... Нет, не может уйти Овчинников в такой ситуации. Он еще побудет пока. Он уже далеко не тот, что был вначале. Спокойнее становится, что ли? Или философичнее? Даже квартиру для своей семьи решил таки получать во втором эмжековском доме.

А в остальном все по-прежнему.

Из доклада первого секретаря Алтайского крайкома партии Ф. В. Попова: «В крае началось хорошее движение по строительству молодежных жилых комплексов. Заслуживает одобрение инициатива, родившаяся в г. Бийске на строительстве МЖК. Молодежь вносит много интересного... Осуществляют оригинальную социальную программу. Этот почин одобрен в бюро крайкома».

ОЩУЩЕНИЕ КРЫЛА

СТИХИ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

Николай БАЖАН

* * *

Я в имени Хлеб сердцем вижу дороги,
бегут они звонко по щедрой степи.
Над ними встают хлебобобы, как боги,
хоть с каждого бюст для потомков лепи.

Я в имени Хлеб вижу с главной страницы
людей, чьи улыбки, как звезды, видны.
Вновь силой

с ладоней их сможет напиться
земля,
чтоб пшеницею встать из весны.

* * *

Рань в ведра молоком стучит, как дождик,
роса в траве досматривает сны,
вдали идет заря по бездорожью
прохладными шагами тишины...
Играя рожью, пронесется ветер,
настала сенокосная пора.
Уходят люди в поле на рассвете —
все в жизни начинается с утра!

ТЕБЕ

О чем бы я не думал вдруг,
о главном и не главном,
тыходишь незаметно в круг
надежд моих и планов.
С вниманьем глаз, с вниманьем рук
везде со мной ты рядом.
О чем бы я не думал вдруг —

ловлю тебя я взглядом.
Ко мне пришла ты не из книг,
из жизни самой сложной,
чтоб разделить все на двоих
и солнца луч, и дождик.
Я весь в тебе, ты вся во мне,
не разделить без муки
все то, что по большой цене
вручила жизнь нам в руки.

* * *

Продираюсь сквозь завалы сплетен,
на глазах пудовые замки.
Мы не видим, если мы не слепнем,
логике железной вопреки.
В летние дожди вхожу на ощупь,
осязая музыку воды,
из больших и горьких одиночеств
вынес я предчувствие беды.
Мир напрягся переспелой сливой,
Как ожег, дымящийся рассвет.
Человек, стоишь ты над обрывом,
за которым жизни больше нет.
Заклинаю слепотою зрячих:
«Вам ли брать меня в поводыри!»
Памятью, и день, и ночь кричащей,
пробудить хочу вас изнутри.

Все во мне, как в первый раз, навеки
отразилось до последних дней...
Заслонив рукой пустые веки,
я стучусь в сердца живых людей!

г. Барнаул

Евгений ВЯЗАНЦЕВ

* * *

Вдаль солнце плыло, описав полукруг,
Раскинув сиянье, за лесом скрывалось,
А юность уже вырывалась из рук,
И мы на мгновение поняли вдруг,
Что жить остается лишь самую малость.
Как крылья твои,

рос закат из-за плеч,
Взлетала струя розоватого зноя,
Ведь если мы счастье не сможем сберечь,
То нам уже больше не встретить другое.
Далекая прелесть тенистой весны,
Повеяло жаркою горечью лето,
Я жил, забыв полудетские сны,
Но жизнью едва ль называется это...

СЛОВА ДЕРВИША

Первое

Придет пора, и каждый станет пылью,
Я молод был, светила мне звезда.
Я должен улететь, чтоб выросшие крылья
Случайно не разрушили гнезда.

АПРЕЛЬСКИЕ ЭТЮДЫ

На улице моей сквозной
И не дождит, и не туманит,
Но след рельефно нарезной
Звучней и ярче трактор тянет.
И неожиданно совсем
Возникнет звук, как трепет ситца.
Вздыхнет — понятно снег осел,
Широко ахнет — время птице!

* * *

А нынче еще до весны-постирухи
Мне видится загода в мартовский день:
Боярские шапки малины-вислухи
Уже потемнели, уже набекрень.
Уже в тишине шевелит еле-еле
Осинник листвою — и погода
Тряхнет его ветром.

Второе

Кругом лишь трезвон равнодушный цикад.
Кто я! Лишь бродяга без роду,
без племени.
И каждый из нас — это вечный цыган,
Бредущий бескрайней дорогою времени.

Третье

Наш мир и есть прохлада райских куц,
Хоть счастья нелегка изменчивая милость.
Но жизнь сильна, она, как цепкий плющ,
Среди развалин сердца поселилась.

ВЛЮБЛЕННЫЕ

Как много счастья в этом колдовстве!
Пусть даже это счастье их обманет,
Но ведь для них — восторженный рассвет,
Крик поездов, встревоженный в тумане,
Вся свежесть солнца, спящего в листве,
Весна и пламя

самых чистых из восстаний!

г. Барнаул

Геннадий ЖИРОВ

И будет расстрелян
Он самой веселою дробью дождя.

ХАРАКТЕРЫ И СУДЬБЫ

— Отчего дрожишь, Осина!
— Зябко мне.
— Отчего светла, Рябина!
— Молодо мне!
— Отчего красна, Калина!
— Горько мне.

И Калина, и Рябина, и Осина —
Все в одном колке.
А что толку!

А Боярке на пригорке —
На сто веток вольница!
Ей ни молодо, ни горько,
Потому и колется.

СТАРЫЙ МОСТ

От старости он стал угрюм и крижист
И безнадежен кривизной угла,
Как будто вся испытанная тяжесть
В его прогнутых плахах залегла.
Изведал он погоду и ненастье,
Цедил весну с обветренных логов,
И даже чуял мост чужое счастье
По чьей-то невесомости шагов.
Да было ль это или не бывало!
Та легкость свиста пролетавших шин
Веселых большегрузных самосвалов,

Щеголеватых легковых машин!
Он будням человека обетован,
Стоял упрямо на своем посту,
Да новый мост из стали и бетона
Стал приговором старому мосту.
А старый [до последней сваи первый!]
Еще не свыкся с тем, что он забыт...
Лишь плахи, как расшатанные нервы,
Да санный путь сторонкою пробит.

с. Налобиха
Косихинского р-на

Александр ЗУЕВ

КОЛОДЕЦ

В сухом бору гниет болото.
Жара. Как гниль его слышна!
Грибы изъедены. Охота
в надежде на успех — смешна.

Жара! И негде взять напитокся.
Притихших птиц развеселить
смогла б, наверное, водица,
да и тебя, хоть ты не птица,
но птиц не меньше хочешь пить.

...И кто послал его, колодец?
Разъезд какой-то, огородец
с подсолнухами, ковылей
забытый сон, хмельной народец...
— Да вон колодец-то, попей.

И я, приставший, как репей,
к тому колодезному срубам,
к воде холодной ключевой,
кадушки запах моховой
и вкус воды —
как позабуду!

СОСНЫ У ОБРЫВА

I

Мне покоя никак не дает
наш русалочий поворот,
наши сосны и наши поляны,
где серебряный месяц плывет,
и жарки пламенеют, как раны,
от которых никто не умрет.
Там задумали сосны полет
с крутизны, из парящего плена.

2 Альманах «Алтай» № 4

У обрыва свивается пена,
но по-прежнему тайна живет
в берегах, в их ночных отраженьях,
когда время крадется, как вор,
и река, замедля движенье,
гасит ветер и слушает бор.

II

...И корнями вцепившись в песок,
великан говорит великану:
— Упаду... Видно, вышел весь срок...
Как с обрыва на острые камни
золотой великан упадет,
так и я в реку времени кану.
Говорунья-река отпоет,
как отпел великан великана,
проводив до черты, где полет
и падение равны,
но паденью не равен полет.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Долог к Лебяжьему озеру путь.
Жуткие травы сплелись — не пробраться.
Через колодину прыгайте, братцы:
вдруг там змея... Нам осталось
чуть-чуть.

Жуткие травы сплелись — выше глаз.
Солнце еще высоко, эх, высоко.
Озеро скоро — камыш и осока,
лебеди черными станут без нас...

Лебеди белые! Бор вековой,
сосны срослись, заплутались корнями.
Тихо в просторе, и нет никого —
ни лебедей, ни людей над волнами.

Озера чаша черна и пуста.
Видно, напутала бабка,
забыла.

— А, — говорила, — полно...
Ни черта —
нет лебедей, и вода, что чернила.

г. Барнаул

Сергей КЛЮШНИКОВ

* * *

Не к высшей, нет, а к вышней мере
Приговорен. Гори, звезда!
Путь от неверия до веры
Коротким не был никогда.
И слава богу, слава богу,
Что испокон веков нельзя
Слепую одолеть дорогу,
Ежеминутно тормозя.

* * *

В селе родился. В мяте и ромашках.
И как теперь судьбу ни виновать —
В деревне рос, — и все-таки промашка:
От печки не сумел протанцевать.

Такие ль песни спозаранку сеяли!
Трави себя, безжалостно лупцуй!
От газовой плиты, от батареи пи
Танцуй теперь, не жалуйся, танцуй.

* * *

Шепот перешел на шепоток,
Рядом, слишком рядом, за спиною.

А из почки выглянул листок,
Удивленный выглянул листок:
— Где же я! И что теперь со мною!
А мороз за окнами жесток,
И снега — обвальною стеною.
Гибельный проклюнулся листок,
Шепот перешел на шепоток.
Ну чему так рады за спиною!

* * *

Никому не воздам похвалы,
Постою от торжеств вдалеке.
Сумасшедшие ходят валы
На когда-то спокойной реке.
День стремительно падает в ночь.
Подгоняемый свистом ветров.
Не сумеет мне время помочь,
Не найти оправдательных слов.
Но в душе убеждение пронес:
Если страх подступает в ночи,
Белый ворон — смешной альбинос —
Так же хрипло, как черный, кричит.
Ничему не воздам похвалы!
Отступлю от сует в холода.
Слишком дни мои были круглы,
Колобковые были года.

г. Новоалтайск

Владимир КРЕЧЕТОВ

СЕБЕ

Головы лохматый кочан
На семи я ветрах качал.

Я в любовном огне горел
И лишь чудом остался цел.

Я тонул в ледяной воде,
Мне пророчили: быть беде.

Но сквозь этот слезливый гул
Кто-то руку мне протянул.

Только разуму вопреки
Я не принял его руки.

И волна меня понесла —
Мне стихия хотела зла.

Но я юным и мудрым был:
Выплыл, выжил и победил!

ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ЕЛО

Нож на поясе —
Узенький ножик

Да последний
 В централке заряд...
 По лихому
 Кружу бездорожью
 Я десятые сутки подряд.
 Ночь.
 Под кедром
 Случайным ночлежу.
 Огонек
 Для тепла развожу.
 И чуть утро
 Белесо забрезжит,
 Вновь кружу
 И кружу,
 И кружу.
 Пью чистойшую
 Горную воду,
 Ем коренья
 Да травный букет.
 И опять
 Через пень да колоду
 По тайге,
 По тайге,
 По тайге...
 Сломан ножик —
 Мой солнечный лучик,
 Пулю ветром
 В простор унесло.
 Тень моя —
 Мой надежный попутчик,

Привела меня все же в село...
 Люди милые!
 Горные боги!
 Я продрался сквозь хвойную мглу.
 Громыхая,
 Совхозные дроги
 Провезли меня по селу.
 И в аиле, покрытом берестой,
 Я неделю
 Безвыходно жил,
 И смешливый
 Сопливый подросток
 Посмотреть на меня заходил.
 Петли узких дверей верещали —
 В эти дни доставалось дверям.
 Мне гостинцы несли еловчане:
 — На, сынок.
 — Ме балам.
 — Ме балам...
 А хозяин — отец многодетный,
 Все внушал землякам у ворот:
 — Что я — бедный!
 Я вовсе не бедный!
 Ну, народ,
 Ну, народ,
 Ну, народ...

г. Горно-Алтайск

Николай КРИВУШИН

* * *

Отечество — земля отцов,
 А не безликая окрестность,
 Есть у него свое лицо,
 Своя единственная местность.
 Есть то, что суждено любить,
 Что памяти звездой светит...
 Большое можно не заметить,
 Коль это малое забыть.

* * *

Так уж устроено, так уж ведется:
 Умный подчас в дураках остается.
 Хитрый за умного в мире слывет:
 Умный посеет, а хитрый — пожнет.
 От понедельника до воскресенья
 Хитрый за умным следует тенью...

* * *

Ни людей, ни зверей... тишина и покой.
 Заплутала меж сосен пустая дорога.
 И, отстав от нее на опушке лесной,
 Санний след притулился к початому стогу.

Задремала печаль... пусть немного поспит.
 Пряча когти, тревога свернулась
 в клубочек.
 Только сердце-вещун все стучит да
 стучит,
 Бьется в клетке своей, что-то высказать
 хочет.

Ощущением разлуки томясь без вины,
 Сердце стуком своим говорит,
 как умеет,
 Что без этой привычной, как вздох,
 стороны,
 Небо станет чужим, и земля опустеет.

г. Горно-Алтайск

* * *

Нет,
ни другом,
ни приятелем
я твоим не стану ввек,
ибо очень неприятен мне
нехороший человек.

Ты еще на что-то сетуешь,
фарисейство возлюбя!
Быть врагом твоим!..
Но это уж
слишком много для тебя.

* * *

Все слабее и слабее крылья,
глубже след печатаю в снегу.
Делаю последнее усилие,
но взлететь, как прежде,
не могу.

Не могу..
И никакие боги
не вернут мне
легкости былой.
Слабнут крылья,
тяжелеют ноги,
навсегда связавшие с землей.

с. Ребриха

Иван МОРДОВИН

ПЕРЕКУР

Серебряные щепки
В траве — как рыба карп.
И глаз прищурил щелки
Устало дядя Карп.

Объ за спиной сверкает.
Хорош в лугах покос.
И теса для сарая
Не пожалел колхоз.

— Слышь, дядька,
В этом мире
Все, дорогой, для нас!
Гляди вокруг пошире,
Чего прищурил глаз!

Он головой кивает,
Мою прослушав речь.
— Вишь, солнце как пылает,
Чего глаза-то жечь!

* * *

Сбылось нелепое пророчество,
Теряю, милая, тебя.
Все ощутимей одиночество
В сквозных аллеях сентября.

Об этом ли тебе печалиться
В сегодняшнем летящем дне,

Сама себе во всем начальница
И покровительница мне!

К пустой не склонная надменности,
Ты не оглянись назад,
Вслед за тобою листья медные
В провалах памяти гудят.

И дальней дали предназначенный
Неотразим твой взгляд и смел..
Окликнуть бы,
Но стужей схваченный
В гортани голос онемел.

* * *

Воздух чистый — в небе ясно, — тишина!
Стуком дятла тишина оглушена.

Вот осина занялась огнем — горит.
Черный омут крутит листья от раки.

И мерцают эти листья в глубине,
Как созвездия, неведомые мне.

У вселенского обрыва на краю
Неподвижно, словно дерево, стою.

Подступившего не чувствую огня.
Что же вы не окликаете меня!

г. Барнаул

Геннадий ОСИНКИН

БАЛЛАДА О МЕРТВОЙ РЕКЕ

Река текла.
И время с ней текло
Легко, светло.
И с нею балабоня,
В святые воды опустив весло,
Как бы в стекло,
Плыл бакенщик Афоня.

Река текла.
Но с некоторых пор
Безлюдная и вымершая будто,
Она на берег изрыгала
Сор,
И мертвых рыб,
И черноту
Мазута.

Река текла.
Но смех ребячий стих.
И глаз, блуждая,
С пустотою свыкся.
Текла река,
Похожая на Стикс.
И я стоял,
Совсем живой,
У Стикса.
И вдоль реки,
В раздумье погружен,
Шагал старик,
Держа весло в ладони.
А мне казалось:
Это был Харон,
Хозяин речки,
С обликом Афони.

г. Барнаул

Сергей ФИЛАТОВ

ДОМ

1.

Я вернусь виноватый кругом.
Будет ветер солому трепать
на пустынном дворе,
будет хрипло ворона орать
на березе у дома.
У кого же прощенья просить?
Буду долго смотреть,
как летает по ветру солома.
Я вернусь виноватый кругом...

2.

Металлическим горлом ворона скликает
весну
на заборе у старых ворот.
Резким ветром швыряет луну.
Гололед.
Кто-то сыплет песком поворот.
Рядом пес, вислоух
и продрог.
И ворона скликает весну!

3.

Все ветер, все закат тревожный чаще:
все большей болью полнятся слова,
все выше скорбь о чем-то уходящем...
Все меньше нитей кровного родства.

* * *

Какой-то странный человек,
прозрачный, как стекло,
катал в комки вчерашний снег,
вздыхая тяжело.
Загнала вьюга воробья
под старенький карниз.
С настенного календаря
стекал тихонько лист.
Седой старик смотрел в окно.
Седой старик молчал.
И только лист с календаря
стекал, стекал, стекал...
И только странный человек
катал, катал, катал
вчерашний снег — бумажный снег
и что-то бормотал.

* * *

И воздух содрогнется высотой,
и звук пройдет тугой волной по жилам:
брожение соков — зарождение жизни,
не сломленное долгой немотой!
Деревья отряхнутся от зимы.
Проснется пашня — трудная, как совесть.
И чья-то жизнь окончится, как повесть, —
и станет теплой горсточкой земли.

г. Бийск

Не первый год работает при Алтайской краевой писательской организации литературная студия, цель которой — собрать и объединить начинающих авторов, привить им первые навыки литературного мастерства, помочь правильно оценить свои первые литературные опыты. А в дом по проспекту Строителей, 11-а приходят самые разные люди — студенты, рабочие, инженеры, журналисты, люди с высшим образованием и школьники. Далеко не каждому из них удается освоить азы литературной школы, и далеко не каждый студец — обязательно будущий литератор, но в одном эти люди едины: они страстные поклонники литературы, верные подданные ее...

Чуть больше двух лет назад пришли в студию совсем молодые ребята, только-только начинавшие «мыслить образами», а сегодня я искренне рад представить их нашему алтайскому читателю. Владимир Бровкин, Александр Пешков, Сергей Орлов, Вячеслав Морозов — каждый из них идет в литературу своей дорогой, каждый из них много обещает, что из этого получится — посмотрим. Мне же сегодня хочется пожелать и дебютантам альманаха «Алтай», и тем, кто уже в нем печатался, — трудолюбия, удачи и дерзости! То есть всего того, чем гордится великая наша русская литература.

Вяч. СУКАЧЕВ,
руководитель литературной студии



Морозов Вячеслав Валентинович родился в 1954 году в с. Сидоровке на Алтае. Работал помощником машиниста железнодорожного крана, был уполномоченным Алтайского бюро пропаганды художественной литературы. Учится на заочном отделении Литературного института имени А. М. Горького. Печатался в альманахе «Алтай».

Вячеслав МОРОЗОВ

НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ

РАССКАЗ

Вагон был общий. Проводница заряжала печку углем и не обращала внимания на входящих. Свободные полки остались лишь вдоль прохода, и Валентин наугад выбрал место наверху. Бросил в голову пластиковый «дипломат», снял пальто, разложил на полке. До отправления оставалось восемь минут. Езды пять часов — не проспать бы. Соседи по купе кто спал, кто подремывал, навалившись на столик или облокотясь на перегородку.

Хлопнув дверью, вошла проводница, стала отпирать дверь служебной. Валентин подошел:

— Сестра, разбуди в Росицах. Я вон там сплю.

— У нас общий вагон. В плацкартных будят.

— Просплю — на рубль дальше проеду. Вам же убыток...

Проводница молча открыла дверь, вошла. Ответила, стоя спиной:

— Я смену одержурила. Сменщицу спрашивай.

— А где она?

— Одевается. Иди, скажу ей.

Валентин забрался на полку, подоткнул пальто, чтобы не дуло в спину, поворочался, устраиваясь поудобнее. Подошла заспанная сменщица.

— Тебе до Росиц?

— Ага.

— Разбужу...

Вагон дернулся. Поплыли назад яркие станционные огни. Громыкнули под колесами первые стрелки, шатавая вагон из стороны в сторону. Поезд набирал скорость...

Проснулся Валентин в шесть часов от того, что крепко замерз левый бок: пальто скомкалось и сползло. От окна несло арктическим холодом. Колеса мерно и деловито постукивали на стыках рельсов. Валентин свесился с полки: нижние пассажиры сменились. Внизу, под ним, сидел некто в белой шубе, положив ноги в валенках на сиденье напротив.

— Что проехали?

— Росицы.

Валентин скрипнул зубами: ну вот, на тебе!..

— А остановку объявляли?

Валенки легли крест-накрест.

— А на что объявлять? Кому надо — тот знает, — лениво ответила белая шуба.

— Росицы — это дальше Ярков? — спросил из темноты вагона девичий голос.

— Ярки, девка, час как проехали. Я там садился.

— Ой, а она сказала — разбудит!..

Девушка в соседнем купе вскочила и стала лихорадочно застегивать пуговицы пальто, что-то причитая вполголоса.

— Не суетись. Остановимся минут через двадцать.

Немного очумевший со сна и от дурной новости, Валентин не мог сообразить, что же теперь предпринять. Перебрал в уме немногочисленные варианты — все они оказались никудышными. Вот ведь напасть!

Он опять свесил голову:

— Дед, а со следующей станции автобус до Селиваново ходит?

— Какой я тебе дед! — Из поднятого воротника шубы выглянуло молодое лицо. — Ходят. Сейчас должен быть.

— Ну добро...

Валентин прыгнул на пол, оделся. Температуру воздуха в вагоне показывал легкий парок при дыхании. Наверное, проводница заснула и давно не подбрасывала угля в топку. Выходя покурить, он пнул погой дверь служебки.

— Не спи, замерзнешь!

Вскоре в тамбур выкатилась заспанная проводница, принялась шуровать в печурке. Подняла голову:

— В служебном тамбуре не курят. В тот иди.

Он пристально посмотрел на нее, демонстративно затыкнул и смахнул пепел на пол. Проводница фыркнула и ушла к себе, громко хлопнув дверью.

Поезд сбавил ход...

Сойдя на перрон, Валентин сразу заметил автобус, стоящий неподалеку от станционного здания. Народу сошло немного, мест должно хватить всем, но люди почему-то бежали к автобусу изо всех сил, тяжело вихляясь и скользя от поклажи. Валентин с легким изумлением наблюдал, как шумно и весело проталкиваются они внутрь салона, норовя опередить стоящих рядом. Особой энергией отличались женщины,

которых было большинство. «Поодиночке давно бы зашли», — подумал Валентин, поднимаясь последним.

Двери за ним сразу захлопнулись. Шофер крикнул в салон:

— А ну, бабы, давай — кому куда? Покупай билеты.

Расплачиваясь, женщины называли шофера по имени и проявляли в расспросах полную осведомленность о его житейских делах. Вскоре свет в салоне погас, автобус покотился, выхватывая из мрака темные домики, заиндевелые деревья, накатанную дорогу. Впереди легла заснеженная степь.

Валентин сидел в углу, рядом с задними дверками, из них страшно сквозило. Трясло. Досада на проводницу еще не прошла, и он мысленно поносил ее разными словами. Разбуди она его, как обещала, к полудню он подъезжал бы к Весновке, где живет отец. Теперь лучший вариант — сесть в Селиваново на автобус, идущий через Весновку. Селиваново и Калинино — два райцентра, связь должны поддерживать, а Весновка как раз между ними. Не опоздать бы только к отправлению.

Рядом сидел парень лет двадцати пяти, в заячьей шапке, короткой меховой куртке и в валенках с просторными голенищами. Он вжимал голову в поднятый воротник, куцые полы натянул на колени, а кисти рук прятал в голенища. Валентин, ежась в холодном городском пальто, завистливо посмотрел на соседа и тронул его локтем:

— Слышь, земляк, не помнишь, во сколько отходит автобус, который через Весновку идет?

Парень повернул голову, выпростал губы из шарфа и простуженно просипел:

— Он щас не ходит.

— Как это?!

— Рейс отменили: дорогу переметает.

— А машины ходят?

— Почем я знаю. Ходят, наверное...

— А вам куда? — повернулась одна из женщин.

— В Весновку надо попасть.

— А-а-а. Ну дак это вам надо идти в Сельхозтехнику або в райпо.

— Да-да, — подхватили сидящие рядом женщины. — Токо туда, больше ниоткуда не ходют. А че ж вы, не знали?

— Да вот...

Женщины коротко посочувствовали и еще раз повторили, куда надо обратиться.

Автобус подкатил к освещенной станции. Валентин вышел, посмотрел на часы: стрелки показывали половину восьмого. Было темно. Редкие дома на улице светились окошками.

В теплом зале ожидания автостанции Валентин напрямик направился к батарее водяного отопления, широкой, в половину стены, оказавшейся невероятно горячей. Отсюда легко читалось расписание движения автобусов, вывешенное на противоположной стене зала. Пытаясь унять дрожь, Валентин смотрел на расписание отсутствующим взглядом и прикидывал, куда обратиться в первую очередь: в райпо или Сельхозтехнику.

На улице сразу защипало кончик носа. Рядом с автостанцией окутанной седыми клубами выхлопного газа урчал бортовой ЗИЛ. Водитель сидел в кабине — видимо, кого-то поджидал. Валентин решил спросить у него, где находится автобаза Сельхозтехники. Пожилой шофер объяснил, как туда пройти, и поинтересовался, зачем нужно приехать на автобазу.

— Да узнать хотел, может, машины куда пойдут, так до Весновки доехать. Батя у меня там в больнице...

— Э-э, парень, припоздал ты трошки. Утром три машины ушло, больше не будет. Райповская сегодня не идет, недавно завоз был. Кто еще? Вроде больше и некому ехать. Все. Выходные впереди.

Валентин поблагодарил шофера и вернулся в автостанцию к горячей батарее. Да-а, видать, проруха бывает не только на старух. Сорок лет скоро, а проспал станцию, как студент первую пару лекций. На проводничку понадеялся. Молодец, Валек, так держать! А теперь пещочком по холодку, чего раздумывать.

Собственно, он и не раздумывал, а просто подначивал себя, чтобы зарядиться бодростью и уверенностью, настроиться на трудную дорогу. Что ж раздумывать, если нет выбора: до Весновки от Селиваново километров тридцать, чуть поменьше. Часов за пять-шесть можно управиться. А то и попутка подвернется.

У водителя ЗИЛа Валентин узнал, каким путем короче выйти на шоссе, покурил с ним на дорожку и зашагал прочь от теплой автостанции. Село просыпалось. Свет из окон домов освещал длинную улицу. Черное глубокое небо постепенно серело. Из труб поднимался густой белесый дым. Хвосты дымов заносило вправо. Мороз, тишина. Пальцы, сжимавшие ручку «дипломата», быстро замерзли, ноги — тоже. У закрытого еще ларька Валентин заметил большой кусок оберточной бумаги. Отряхнул его от снега, сел на перевернутый ящик из-под стеклофары и поочередно обернул ступни поверх носков бумагой. Ботинки теперь слегка жали.

Вскоре село осталось позади. За околицей Валентин оглянулся, неопределенно вздохнул и быстрым шагом пошел вперед. В степи ощущался слабый низовой ветерок, обжигаящий левую щеку. При таком морозе он был совсем некстати. Сероватая лента дороги ничуть не оттеняла белизну пейзажа: плавные тени на заносах, редкие кустики, подрагивающие при слабом движении воздуха, тощие пучки какой-то травы. Вдалеке рычал невидимый трактор — вероятно, шли работы по снегозадержанию. Дорога была пуста.

Бумага в ботинках расплзлась и кое-где скаталась в валики. Валентин поставил «дипломат» на дорогу, похлопал руками в перчатках, помахал ногами, несколько раз притопнул. Перчатки из оленьей замши привез товарищ с Камчатки, а ботиночки — обычный ширпотреб...

Воздух становился прозрачнее. О возвращении мысли не было, но Валентин некоторое время шел оглядываясь, стараясь различить на горизонте приметы покинутого им села. Еще не до конца угасло то слабое внутреннее сопротивление, когда человек решает бросить вызов неизвестности: решение принято, концы отданы, волна уже играет шлюпкой, гребец правит нос на волну, но не упускает из виду удаляющийся берег, от которого он только что отчалил.

Дым над селом вскоре заслонил пологий бугор, и Валентин перестал оглядываться. Левая щека задубенела от легкого ветерка, который стал чуточку ощутимее. Он тер щеку «ухом» шапки, корчил гримасы, чтобы вызвать прилив крови, но кожа затвердела, как после укола новокаина. Не останавливаясь, он стащил зубами перчатку и стал растирать. Пятачок на скуле скоро ожил, задергался под притоком крови. Зато мороз успел «обварить» пальцы. Валентин остановился и, зажав «дипломат» между ног, сунул руку в штаны. Подождал, пока рука «зайдется с пару», как говорила бабушка, глубоким выдохом согрел внутренность перчатки, надел ее и снова пошел.

Высокая насыпь шоссе, или как его называли в здешних местах — «сошейки», уходя вдаль, почти сливалась с белой степью. На горизонте его нитка угадывалась лишь по разрыву в сереньком пунктире лесозащитной полосы, ближе — по едва заметной колее, редко присыпанной вмерзшей галькой. Снег на обочине местами заровнял глубокие кюветы. Заснеженное поле постепенно освобождалось от синевого утренних красок и становилось молочно-белым. Валентин отмечал взглядом торчащие из снега кустики полыни, сиротливые стебли мятлика с ободранными растрепанными метелками.

Почувствовал, что ноги замерзают. Скатавшаяся в валики бумага

доставляла неудобство. Чтобы согреться, он повернулся левым боком вперед и побежал вприскок приставными шагами, стараясь дышать носом. «Дипломат» пришлось держать на отлете в правой руке. Без смены рука вскоре заоченела, зато сам Валентин согрелся. Правда, ноги еще не отошли, но кровь все настойчивее толкалась в ступни, неся живительное тепло. Валентин сменил руку и побежал правым боком вперед лицом к ветру. Скоро онемели мочки ушей и подбородок. Пришлось опять развернуться спиной к ветру и оттирать уши на ходу...

Валентин перешел на быстрый шаг. Никогда бы не подумал он, что способен пробежать километра два-три без передышки. Случалось, поспешишь за автобусом — сердце часто и долго не успокаивается. В эту зиму, еще до Нового года, с женой и дочкой выбирались за город на лыжах — снег потоптать, воздухом надышаться. А когда всерьез бежал — забыл уже. Да, признаться, и не тянет. За счет жирка да брюшка вес к восьмидесяти подобрался. Но тут, смотри-ка, нужда подтолкнула. «И усталости не чувствую, — думал Валентин, — ну дела!.. Пять минут прошел, а сердчишко уже успокоилось». Ему стало весело от мысли, что он еще годен на хорошую нагрузку, рассчитанную на мужика, а не на изнеженную особь мужского пола.

Отдохнув, он опять перехватил «дипломат» в правую руку, левую сунул в карман пальто, развернулся боком к дороге и снова запрыгал приставными шагами, как спортсмен на тренировке.

На этот раз устал быстрее. И прыжки его сделались неуклюжими, тяжелыми. Дважды он поскользнулся и чуть не упал. Как показалось, устал сильнее, чем в первый раз.

Мороз не полегчал с приходом утра. Полы короткого пальто оставляли колени открытыми и никакое движение согреть их не могло. Колени гнулись с трудом, словно суставная жидкость вымерзла или загустела, как машинное масло на холоде. Когда Валентин попробовал их оттереть, то не мог избавиться от странного ощущения, что поверх кожи приросла еще какая-то, чужая, срослась намертво, и теперь стягивает сустав плотной омертвелой оболочкой, мешая ему работать.

В сухом морозном воздухе ему почудился посторонний запах: пахло не то жженым, не то паленым. Это вызвало расплывчатую мысль, что он, одинокий путник, в голой зимней степи не так уж одинок, что где-то есть близости люди, что это стылое пространство вокруг него не безжизненно. Огромная белая степь перестала давить своей ширью и бескрайностью. Мир сузился до человеческого понимания, стал иметь пределы. Еще раз пахло — теперь уже ясно различимым запахом горелой резины. Он всмотрелся вдаль: ни жилья, ни техники — ничего живого. Дыма тоже не видно, лишь метрах в двухстах на дороге что-то темнело. Подойдя ближе, он понял, что тут жгли автомобильную покрышку: в замерзшей луже от растаявшего снега бесформенной пружиной свернулся металлический каркас сгоревшего колеса. Огонь, превративший баллон в черное кольцо сажи и крошки, загас, но в одном месте жар еще держался. Валентин разгреб жар ногами и стал по нему топтаться, рассудив, что подошвы ботинок прогреются и ногам станет теплее. Действительно, ступни скоро отошли. Не согрелись только пятки.

Здесь он поправил сбившийся носок, получше запахнул шарфом шею, выбросил из ботинок бумагу. Уходить даже от такого сомнительного и недолговечного тепла не хотелось. Но надо было идти. Он снова побежал по трассе. Кое-где встречались небольшие заносы, прорезанные колеями, но пока дорога была ровная и хорошо укатанная. Валентин мысленно обругал все автобусное начальство за перестраховку и связал это с цепью своих неудач. Ведь что получается? Зуб не дал выпастись — раз, телеграмма — два, дура-проводница — три, отменили рейс — четыре... Можно добавить пятым пунктом сегодняшней мороз — и весь набор в комплекте... Ничего, Петр Никитич, ты все же дождешься своего сына!..

Вспомнив об отце, Валентин тотчас представил его: небольшого роста, немного сгорбленный и худой. Голова у отца совсем белая, щетина, когда выбивается, тоже отликает серебром, на щеках по глубокой вертикальной складке. Валентин старался не думать о болезни отца, чтобы не расстраивать себя и — не дай боже! — не накаркать какую холеру. Суеверие, конечно, но лучше уж не загадывать. А то загадаешь, а оно прилипнет, вот и майся до конца жизни. Заранее паниковать — на это бабы горазды... Кому легче, если он, Валентин, сейчас заохает и запричитает? А явится — увидит, чем помочь. Да сам его приезд — отцу лекарство...

Тут и там на снегу встречались запутанные заячьи следы. В лесополосах их всегда было много — зайцев. А что если и волки встречаются? Заячий корм — кора, волчий корм — заяц. Неприятный холодок пробежал по спине, сердце учащенно забилося. В кармане нет даже перочинного ножика. «Дипломатом» отмахиваться?.. А степной волк добычу не упустит, тем более — стая. Валентин перешел на шаг и некоторое время шел озираясь и оглядываясь. Понемногу успокоился, иронически хмыкнув, достал беломорину и долго пытался прикурить, не снимая перчаток. Папироса горчила и воняла отсыревшей бумагой...

Нежданно в воздухе послышалось легкое прерывистое зудение. Валентин покрутил головой, силясь понять, откуда доносится звук. Наконец различил — сзади. Звук быстро приближался. Машина! Он выплюнул беломорину и, ощутив мгновенный прилив забытого ребяческого веселья, дважды вприскокку скакнул на ледяной дороге, крутанув «дипломат» над головой: ни дать ни взять школяр, узнавший, что «училка заболела» и урока не будет. Поскользнувшись, упал и расхохотался весело и облегченно: любая цепь неудач должна заканчиваться удачей, иначе зачем жить. Встал, поддел пинком округлую гальку. Галька не шелохнулась. Валентин, прихрамывая, пошел дальше, постоянно оглядываясь. Машина уже была метрах в двухстах. «Четыреста шестьдесят девятый УАЗ», — определил он и, развернувшись, пошел спиной вперед, чуть приподняв правое плечо, чтобы не задувал в лицо обжигающий ветерок, неотрывно глядя на приближающуюся машину. Передок УАЗа подрагивал на неровной дороге. Валентин разглядел, что в машине двое: шофер и рядом пассажир — наверное, начальство. «Сколько же километров от Селиваново прошел: десять или больше?» — подумал он и решил засечь километраж по спидометру — от места, где его подберет уазик и до Весновки. Эта трасса как раз идет через нее, куда не сворачивая. Валентин содрал иней с ресниц тыльной стороной перчатки и подумал: голосовать или не надо? Вообще-то незачем: что тут неясного — в одну сторону один едет, второй — идет... Но когда машина была совсем близко, он на всякий случай вскинул руку и покачал ею вверх-вниз. Успел отметить, что водитель правит без перчаток и куртка его на цигейковой подкладке распахнута — тепло в машине. Шофер несколько секунд смотрел в глаза Валентину неопределенным взглядом, потом перевел его на дорогу — спокойно, безучастно. Человек в ондатровой шапке и сером демисезонном пальто лишь скользком провел глазами по обочине дороги, словно по пустому месту, и опять устоялся за горизонт.

Машина проехала мимо. Думая, что водитель тормозит накатом (все-таки лед на дороге, можно юзом пойти!), Валентин побежал следом, но уазик, не сбавляя скорости, поехал дальше. Какой-то миг он не понимал, что машина уедет без него и догонять ее бесполезно: бежал, еще испытывая радость встречи с людьми и предвкушая продолжение этой радостной встречи. Потом остановился и невидящими глазами уставился в дергающийся от тряски удаляющийся кургузый зад УАЗа. От пробежки ли, от потрясения, пришедшего с осознанием случившегося, он ощутил внезапно подступившую слабость; выпустил ручку «дипломата» и согнулся, опершись руками на колени, тяжело дыша и все

еще не отрывая взгляда от уезжающей вдаль машины. Ему захотелось, чтобы те, сидящие в теплой кабине, услышали, что он о них думает, и закричал во всю силу легких, с надрывом:

— Тварю-юги-и! Машина ведь пустая!

Ругаясь с утихающей злостью, он подобрал «дипломат» и зашагал снова. Но не было уже ни бодрости, ни сил, чтобы двигаться прежним темпом. Невидимое солнце угадывалось за плотной серебристой облачностью где-то с правой стороны. Тусклыми искорками играл чистый, ничем не запятанный снег. Хотелось сориентироваться во времени, но часы скрывал отворот перчатки, и лень было с ним возиться. Почему-то вспомнилось лицо не шофера, а сидящего рядом с ним: озабоченное, несущее печать большой и важной думы, и глаза — мутновато-голубые, холодные, как у мороженого хека. Без сомнения, это он приказал шоферу не останавливаться. «Не может быть, чтобы шофер бросил одного человека в степи! В такую морозину! Шоферюги сами мерзнут и пыль глотают, дождевую водичку пьют и в кюветах ночуют. Сам восемь лет крутил баранку, перевидал... Нет, это тот, с рыбьими глазами». Валентину хотелось подыскать слова пообиднее, но мороз с ветерком не давали сосредоточиться. Подумал и про шофера: «А если бы тот приказал ему меня переехать, то что ж? Нет, оба сволочи!»

Очнувшись от тяжелых мыслей, он почувствовал, что онемел мизинец на левой ноге. Пошевелил им и удивился: чужой, приделанный. Закоченела и рука, сжимавшая ручку «дипломата», и вся левая сторона тела — ветерок незаметно усилился. Валентин вдруг отчетливо понял: если не бежать, то дело может плохо кончиться. И он, подстегиваемый этой мыслью, пересиливая слабость во всем теле, тяжело побежал. «Дипломат» он вскоре бросил: в нем лежали две пачки индийского чая и новая электробритва — гостинец и подарок отцу.

— Извини, батя, — сказал он вслух, — станком побреешься, а чайку мы грузинского заварим...

Бежать стало легче и вроде теплее...



Орлов Сергей родился в 1958 году в Барнауле. До призыва в армию работал слесарем в Алтайском моторостроительном объединении, после увольнения в запас — в типографии «Алтайская правда» стереотипером. В 1987 году окончил исторический факультет Алтайского государственного университета. В альманахе печатается впервые.

Сергей ОРЛОВ

РАДОСТЬ

РАССКАЗ

Дома их встретил маленький лохматый пес Арсик. Возбужденно повизгивая, он радостно ткнулся в Володиные ноги, отскочил, бросился к Ирине, жадно обнюхал ее полусапожки, негромко твякнул и понесся в комнату.

— Ты-то, шалопай, чего радуешься, кончается твоя беззаботная жизнь, — улыбувшись, сказал Володя.

Арсик, цыкая коготками по паркету, мчался как угорелый по комнате, услышав голос хозяина, хотел было развернуться, чтобы вновь бежать в прихожую, но поскользнулся и со всего маха брякнулся спиной о ножку стола. Взвизгнув, он вскочил на лапы и завертелся на месте, заливаясь таким громким твяканьем, что Ирина и Володя не на шутку рассердились.

— Тише ты, сына разбудишь! — прикрикнул Володя на Арсика. Увидев, что пес не реагирует, притопнул на него ногой: — Я тебе!

После этого предупреждения Арсик затих и, обиженно поджав пушистый хвост, залез под стол.

Ира и Володя прошли в комнату, поставили в вазу цветы, а малыша, закутанного в одеяльце, положили в приготовленную для него кроватку.

— Можно я на сынишку посмотрю? — тихо спросил Володя жену.

— Конечно. Только будь осторожнее, — предупредила она.

Володя приподнял угол одеяльца, бережно, чтобы не разбудить сына, расправил сбившуюся на лицо простынку и посмотрел на малыша таким долгим изучающим взглядом, что незаметно подсматривающая за Володей жена слегка улыбнулась и спросила:

— Что, не признаешь?

— Почему? — оскорбился Володя; он, как врач у операционного стола, был серьезен и не принимал шуток.

— Димке жарко, — сообщил он жене, но Ирина и сама уже заметила, что маленький вспотел в теплой одежке. Быстро развязав синий бант, раскутала сынишку, оставив его лишь в одной легкой пеленке. Недовольный, что его потревожили, карапуз засопел, заворочался, но глаз не открыл.

Перестав сердиться, Арсик с любопытством наблюдал за происходящим и, вытягивая лохматую морду из-под стола, принюхивался к незнакомому запаху. Убедившись, что на него никто не обращает внимания, он вылез из своего убежища, подкрался к кровати. Ему страсть как хотелось приподняться на задних лапах и обнюхать того, кем теперь так сосредоточенно были заняты хозяева. Но он умный пес и поэтому лишь примостился в сторонке: и хозяевам не мешаешь, и от кровати близко.

Молодые родители не отрывали глаз от сына.

— Ирин, смотри, у Димки личико шелушится, я сразу и не заметил, — встревожился Володя.

— Не бойся, это скоро пройдет, — успокоила его жена. — А правда он на тебя похож? — спросила она и приклонила голову к Володиному плечу.

— Не знаю, — Володя обнял Ирину. — Подбородок мой — такой же раздвоенный, только махонький, как у куклы... Нос пока непонятно чей: то ли бабкин, то ли твой. Губы — точно твои: такие же пухлые, а глаз я еще не видел... Говорят, у грудных детей цвет глаз со временем изменяется, правда?

— Кто его знает, говорят, — Ирина сладко вздохнула. — А хорошо все-таки дома, я так соскучилась!

— Я тоже, — прошептал Володя и, прижав ее к себе, поцеловал в бледные, некрашенные губы. — Я люблю тебя...

— И я... люблю.

Арсик ревниво покосился, сам того не желая, гавкнул с досады: уж очень ему не нравилось, когда Володя при нем целовался с Ириной.

— Ты опять! — Володя не сдержался, толкнул Арсика ногой. — А ну, на место! Живо! И чтоб я тебя больше не слышал!

Пес ползлелся на свой коврик, дойдя до него, лег, закрыл глаза и даже не пошевелился, чтобы устроиться поудобнее — так плохо с ним не обращались никогда.

— Что будем делать? — показав на Арсика, спросил Володя жену.

— Не знаю, — пожалала плечами Ирина, — отдавать кому-то жалко, оставлять нежелательно — у нас теперь ребенок.

— Нда-а, что-то надо будет придумать, — Володя посмотрел на притихшего под столом пса.

— Ладно, Володя, мне надо умыться и привести себя в порядок...

— Конечно! — спохватился Володя. Он сбегал за халатом и полотенцем для Ирины, а потом по-деловому устроился на стуле возле Димкиной кровати.

— Ты словно сиделка, — неволью улыбнулась жена.

— Иди давай, — поторопил ее молодой папаша, — а то Димка есть захочет, проснется, что я с ним делать буду?

И действительно, едва за Ириной закрылась дверь ванной комнаты, малыш заерзал, закричал, и, выронив пустышку, заукал.

Арсик под столом шевельнул ушами, приоткрыл глаза.

Володя подался к сыну.

— Ну что ты? Что? Не надо плакать, ты ведь у меня умный.

Он сунул пустышку Димке в рот, но видя, что тот не успокаивается, рискнул взять его на руки.

Какой же он махонький! В одеялке Димка казался совсем другим...

Покачивая сына на руках, он стал ходить по комнате, и карапуз скоро затих. Володя глубоко и радостно вздохнул: у него было такое ощущение, словно они с Ириной переехали на новую квартиру — комната стала светлей, уютней и... меньше. Володя присмотрелся к окружающим его предметам. Все было как и прежде: застеленный шерстяным пледом диван, над ним оставшийся от Ириной бабушки ковер, справа — набитый книгами сервант, в углу телевизор, в другом — кресло-качалка (тоже бабушкино), между ними, почти у самого окна, полированный стол... Глаза у Володи заблестели. Может, все дело в ней? А может?.. Он перевел взгляд с деревянной детской кровати на малыша, постоял, затаив дыхание, потом не выдержал, наклонился и дотронулся губами до теплого, шелушащегося личика. Сын!!!

Из-под стола на хозяина преданно и грустно смотрел Арсик. Когда Володя наклонился к малышу, пес раздул бока, шумно выпустил из влажных ноздрей воздух и отвернулся.

Из ванной вышла Ирина. Ее не успевшие высохнуть волосы были гладко зачесаны назад, лицо порозовело, на щеках обозначились ямки — признак хорошего настроения.

— Смотри-ка, — заулыбалась она, — а мы тут, оказывается, нянчимся...

— Плакал без тебя, — признался Володя и тут же не без гордости добавил: — Ничего, я успокоил.

Они снова уложили карапуза в кровать и долго стояли над ним: перешептывались.

Арсик вслушивался в их тихие скучные голоса, ждал, что о нем вспомнят, позовут, но, так и не дождавшись, уснул...

Проснулся он от неприятного запаха. Брезгливо поморщившись, Арсик раздраженно фыркнул, открыл глаза. В комнате никого не было, лишь в деревянной кровати кто-то потихоньку ворочался. Арсик предупредительно зарычал, но тот, кто был в кровати, продолжал ворочаться. Ощетинившись, Арсик поднялся с коврика, еще громче зарычал, обнажая маленькие острые клыки, и осторожно приблизился к кровати. Запах усилился, стал резче. Арсик поднялся на задних лапах, ткнулся носом в торчавшую простынку, чихнул раз, другой, отскочил в сторону, стукнул себя по носу лапой, гавкнул и принялся с яростью работать задними лапами. В кровати заплакал малыш.

Услышав его голос, из кухни выбежали Ирина и Володя.

— Вот бестолочь, сына разбудил! — Володя больно схватил Арсика за холку и потащил к входной двери. — И что на тебя нашло сегодня? Иди просвежись! — Он вышвырнул собаку в подъезд и захлопнул дверь.

Вымыв руки, вернулся в комнату и с усердием принялся помогать Ирине подмывать и перепеленывать сынишку. Карапуз зашелся криком. Присев на диван, Ирина устроилась поудобнее, дала ему грудь. Димка набросился на нее, как волчонок.

— Ты смотри какой жадный! — удивился Володя.

— Володя, а я войны стала бояться, — неожиданно призналась Ирина.

— А что, раньше не боялась?

— Боялась, но не так... А сейчас смотрю на него — страшно! Для них, оказывается, на случай войны специальные сумки-колыбельки есть, видел?

— Нет, даже не слышал...

— А нам в институте на занятиях по гражданской обороне показывали. Это ужасно! Сделаны они из прорезиненного материала, есть два впускных рукава в виде перчаток и пластмассовое окошечко, чтобы можно было кормить малыша и менять ему пеленки. До меня только теперь дошло, что это может произойти в любую минуту... Вот сейчас...

— Ирин, давай не будем о грустном... Я вот все тебя спросить хочу, ты ничего не замечаешь?

— А что?

— Ну, например, что у нас обстановка стала такой, будто мы на новую квартиру переехали. Не замечаешь?

— Замечаю. — Ирина ласково посмотрела на мужа. — Это потому, что ты дома порядок навел?

— Да нет, я думаю, здесь другое. — Володя погладил малыша.

— Знаешь, Вовчик, — вдруг нахмурилась Ирина, — он пришел в наш дом и радость должна быть для всех, а вот Арсик...

— Что?

— Давай не будем его никому отдавать? Вдруг вместе с ним...

— Что? — прошептал Володя.

Сунув ноги в ботинки, не одеваясь, он выскочил в подъезд.

— Арсик, ко мне! Арсик! — гулко разнеслось по темному подъезду. Никто не отозвался ему...



Бровкин Владимир Николаевич родился в 1949 г. на Алтае. Работает в конструкторском бюро. Участник совещания молодых литераторов Сибири в г. Новосибирске (1982). В 1980 г. в альманахе «Алтай» был опубликован рассказ «Олекма».

Владимир БРОВКИН

КОРОВА НА ЛУНЕ

РАССКАЗ

1.

Марьясова Ивана, задержавшегося в тот день на работе дольше обычного и пришедшего домой уже затемно, жена встретила сообщением, что из табуна не вернулась корова.

— Подтелок пришел, а коровы нет. Мы с Васькой уже полдеревни обегали — нет нигде, словно сквозь землю провалилась. И куда она

могла запропасться, ума не приложу? За поскотиной нет, возле могилки нет, за садом тоже нет. Васька на Баеву улицу бегал, там тоже нет.

«Черт знает что, — подумал Иван, — совсем корова сбесилась». Первый год она все к старым хозяевам бегала. Замаялись с ней вконец.

— А может, она к Малолетовым убежала? — спросил он жену.

— Да я и туда ходила, глядела, нет ее там, — ответила жена.

— Ну ладно, — сказал Иван, — пойду я еще поищу. Да только где ее в такую пору искать? Пойду за поскотину, гляну там еще разок.

Но за поскотиной коровы не было. Тогда он завернул к могилкам. Но у могилки коровы тоже не было.

Из-за сада гнал телка старик Глухов.

— А что, Михалыч, там моей коровы не видно? — спросил Иван и пояснил: — Корова, проклятая, совсем замаяла. Уже который раз из табуна домой не приходит.

— Нет, не видал, — отвечал Глухов. — Да там и скотины, окромя нашего дурака, никакой не было. Наш вот, он тоже от рук совсем отбился. Да иди-иди, чертяка, ишь, снова встал. — Старик замахнулся прутиной на приостановившегося телка.

— Ах ты, леший ее возьми! — ругнулся Иван и пошел дальше. Однако на свеклу все же решил заглянуть. Может, дед сослепу просто не разглядел в потемках.

— Вот ведь какая непутевая скотинка, — чертыхнулся вслух Иван. — Вот ведь что значит — с чужого двора скотинку брать, когда она переросла уже.

За садом коровы не было. Не было ее на току, за мельницей, и на Мордасовке коровы не было. Тогда он пошел в конец деревни на Федосовский бережок. Там в свое время стояла целая улица домов, но как-то незаметно народ разъехался да разбежался кто куда, и от Федосовского бережка со временем осталось только одно название. Пустырь же много лет как перепахали и сеяли теперь на том месте пшеницу, а вот в последние два года добавили к ней и кукурузу — так что вполне вероятно, что корова туда могла затесаться. Но коровы не было и на Федосовском бережке. Ивану после этого ничего не оставалось делать, как повернуть домой.

2.

На улице посвежело. Из-за сумрачной и несколько таинственной глыбы заброшенного колхозного сада воровато выглянула луна. Нехоженой тропкой начал светиться в высоте Млечный Путь. Выступили в небе крупные масляные звезды, и означили четко контуры Большой Медведицы.

— И куда только могла запропасть корова? — думал Иван, шагая вязкой пыльной дорогой.

Так он снова дошел до Мордасовки.

Луна к этому времени взошла высоко и осыпала округу серебристым трепетным налетом. Четко означились на ней черные пятна теней.

И такая благодать стояла по всей округе, что, на время забыв про корову, Иван невольно остановился и, вдыхая полной грудью свежий воздух, стал неторопливо вглядываться в полную удивительного великолепия картину ночи: и в мерцающую фосфористым блеском дорогу, тонущую в серебристом растворе ночи, и в четкие тени от старых тополей заброшенного колхозного сада, и в вязкие огни в окнах домов, что таяли в полумраке. Потом, закинув голову, он стал вглядываться в густо усыпанное звездами небо.

Неожиданно взгляд его остановился на луне, и он не поверил своим глазам: на луне как ни в чем не бывало стояла его корова. Иван подумал, что у него что-то не в порядке со зрением и протер как следует глаза. Но никакого обмана зрения не было: на луне действительно стояла его корова. Слово в другом конце туннеля, она стояла там в выши-

не и, как бы дразня хозяина, покачивала рогатой головой, сосредоточенно жуя жвачку.

Будь Иван выпивши, этому событию можно было бы дать неверное толкование, но Иван был совершенно трезв, да и пил он весьма умеренно и аккуратно, никогда в жизни своей не напивался до чертиков.

— Ну и ну, — удивился Иван, — прямо-таки научная фантастика.

История выходила, пожалуй, похлеще тех, что публикуют в журнале «Техника — молодежи» в «Антологии таинственных случаев». Но как там случившееся ни называй — чудесами ли, научной фантастикой или проделками нечистой силы, — главное сейчас заключалось, пожалуй, не в том, как могла корова туда забраться или кто мог ее туда затащить, а в том, как ее оттуда теперь домой доставить.

— Черт знает что. У людей скотина как скотина, а тут вечные приключения. Ну, я тебя сейчас, я тебя сейчас, — стал кипятиться Иван.

И, еще слабо вникнув в случившееся, он стал яростно выламывать прут, словно надеясь на то, что с помощью прута можно будет что-то сделать. Ветла была сырая, прут не выламывался и, покрутив его в одну и другую сторону, от досады ругнувшись и зло сплунув, он бросил это занятие. Вгорячах он было стал шарить возле дороги камни и швырять их в корову. Но сами можете представить, что это за занятие — швырять камнями в корову, стоящую на луне. Корова, понятное дело, и ухом не вела. Махая руками, Иван стал бегать взад-вперед, не зная, что можно еще придумать. Наконец Иван так расстроился, что сел с досады на кромку пыльной дороги. Посидел, покурил, исподлобья поглядывая на корову.

— Кукла, Кукла, — стал он ласково звать ее.

Корова на минуту перестала жевать, повернула голову в сторону хозяина, посмотрев на него ничего не значащим, безразличным взглядом, а затем снова принялась за свое. Изменение тактики ни к чему не привело. Иван скрипел зубами и чесал затылок.

Но тут его осенило: он вспомнил, что у Голованова Николая, которого в деревне звали больше по кличке Голованчик, он видел большую лестницу. Тогда он даже подумал, мол, зачем это человеку такая большая лестница. На кой шут? Хотя особо удивляться было нечему: у Голованчика многое было не так, как у людей, в том числе и лестница.

3.

Усадьба Голованчика находилась неподалеку. Иван встал, отряхнул от пыли и направился к Головановой усадьбе.

Собаки во дворе у него не было, поэтому зашел он в ограду тихо, без шума. Лестница вместе с десятком жердей была приткнута с наветренной стороны сарая к копне прошлогоднего сена.

В окнах дома горел свет. Было видно, что хозяева сидят за столом. В дом заходить Иван не решился. В самом деле, попроси у хозяев лестницу, не избежать расспросов: «А куда? Да зачем?». И что им ответить? Вот, мол, мне корову с луны необходимо снять. Только на вашу лестницу и надежда. Ведь на смех поднимут да потом на всю деревню ославят. Нет, лучше все сделать самому да потихоньку.

4.

Так порешив, Иван осторожно взобрался на сарай, втащил туда лестницу и стал приставлять ее к стволу огромного тополя. Однако тополь стоял не так близко, как хотелось бы, и лестница упиралась только в середину ствола. Оставалось одно — добраться по лестнице до тополя, а уж потом по сучьям лезть на макушку, выломать там подходящий прут и оттуда, с близкого расстояния, как следует пугануть корову.

Балансируя по неустойчивой лестнице, Иван добрался до дерева, а затем стал осторожно подыматься вверх. Но едва он успел добраться

до вершины, как в сенях хлопнула дверь и из дома, судя по голосу, вышел хозяин. Голованчик зашел за угол двора, постоял там некоторое время и, что-то пробормотав, направился было обратно в сени, но тут под ногой у Ивана хрустнула ветка. Голованчик остановился и поднял голову. Непонятно почему — на крыше стояла лестница. Более того — лестница была прислонена к тополи, на вершине которого сидел затаившийся человек.

«Что за напасть? — в недоумении подумал он. — Выпил я сегодня вроде немного...» И тут у него в голове мелькнула мысль — вор!

— Эй, это кого туда черти занесли! А ну — слазь! — свирепо заорал Голованчик, хватаясь за первую попавшуюся палку.

Отмалчиваться было бесполезно.

— Да это я, Иван Марьясов, — признался Иван.

— Фу ты, пропасть, — удивился Голованчик. — Да какая нелегкая тебя туда занесла? Что ты там делаешь-то?

Пришлось слазить и стаскивать за собой лестницу.

Голованчик был порядком выпивши.

— А я попервой подумал черт знает что, — обрадованно говорил Голованчик. — Вышел, значит, слышу — хрясть сук. Глядь вверх: сидит кто-то. Я сразу же за палку. Ну, думаю, чуть что, изметелю вражину, мать родная не признает. А это оказалось вон кто у меня на тополе сидит.

Положение, в котором оказался Иван, прямо скажем, было довольно неловким.

— А чего же ты все-таки там делал? — допытывался Голованчик. — Серед ночи залез и сидишь. То ли на луну залезть хотел?

Нужно было что-то сказать, хотя бы что-то соврать, но что мог сказать Голованчику Иван? Ровным счетом ничего. Оставалось рассказать всю правду.

— Да вот корову ищу, с табуна не вернулась, — начал Иван, стараясь при этом говорить как можно развязнее и веселее, хотя на душе у него было мутно.

Иван хотел добавить, что эта самая корова, которую он ищет, неизвестным путем забралась на луну и он, Иван, вознамерился оттуда ее согнать, а для этого и решил воспользоваться его лестницей, но в это время стали набегать невесть откуда взявшиеся тучки и заслонили луну, а вместе с ней и Иванову корову. Впрочем, произошло это, наверное, даже кстати, потому как пьяному человеку рассказывать да показывать — дело совсем бесполезное.

— Так ты корову у меня на тополе искал? — засмеялся Голованчик. — Ну ты даешь! Ну ты даешь! Сколько хоть выпил-то?

— Бутылку перцовой, — слукавил Иван, радуясь тому, что разговор можно будет благополучно свести к выпивке и тем самым избежать лишней огласки.

— Бывает, — согласился Голованчик. — Я вот на прошлой неделе так напоролся, что сам не помню, как забрался в цистерну из-под молака.

Голованчик начал длинно и пространно рассказывать, как он залез в цистерну, как уснул там, как проснулся да стал что есть силы стучать (показалось ему, что его на пятнадцать суток упрятали), и как скотники его оттуда вытащили.

— Ну, а чего мы стоим на улице? Пойдем ко мне в дом. Посидим. Выпьем. У меня там друг заветный, Мишка Крутяков, в гостях вместе с бабой сидит. Пойдем! — стал он тянуть Ивана за руку.

«Счастливые люди, — усмехнулся про себя Иван, — кому труды да заботы, а этим вечный праздник».

Иван было стал отказываться — выпивка совсем не ко времени, но Голованчик так усердно тянул его в дом, что всякое сопротивление было бессмысленно — пришлось согласиться.

В доме за столом сидел раскрасневшийся от выпивки Мишечка со своей бабою Кланькой. Тут же сидела жена Голованчика — Фроська. Баба Анися, мать Голованчика, сидела на табуретке возле печи и, улыбаясь беззубым ртом, слушала яростную перебранку супругов Крутяковых, как всегда бог о чем спорящих.

— А к нам гости, — не успев переступить порог, пропел Голованчик. — Да ты проходи, проходи, не стесняйся.

Ивана усадили за стол.

Застолье, несколько затихшее, с прибытием Ивана разгорелось с новой силой. Ивану тут же поднесли рюмку. Он было отказываться, но на него дружно поднажали все сидевшие за столом, он выпил и как-то сразу опьянел. Настроение после выпитого поднялось. Захотелось поделиться своими мыслями.

— А я вот корову искал, — начал он разговор.

— Ага, — поддакнул хозяин. — Точно! Лестницу к тополю приставил, залез на самую макушку и сидит там! Я вышел и говорю: «Кто такой? А ну слазь! Не то изметелю, как не знаю что». Слазит. Гляжу, а это, оказывается, Иван Марьясов. Вот те на, во дает! Выпил, понимаете, ну и полез корову на тополь искать. Ну и чудак!

— Нет, правда корову искал. Корова у меня совсем от рук отбилась. Как приду домой, так нет коровы. Жена каждый раз шум поднимает: вот, мол, говорила, не покупай эту корову. Так нет, не послушался, купил, вот сам и ищи.

— Видишь, — сказал с ехидцей Мишечка жене. — Ты теперь-то можешь наблюдать, до чего бабье галдение доводит мужиков: стали мужики ночью на деревья лазить.

— Прям! — резанула та ему в ответ. — Прям! Уж таких бедных они из себя строят, уж таких замученных, что дальше и некуда. А по мне одно — пить надо в меру, тогда не полезешь. Тебя, долбушку, тоже вот за каждым разом нужно одергивать. Как добрался, так только держись. Оборзел наконец. Ну-ка, хватит, кому говорю — вставай! Пошли домой!

— А я вот не пьяный был, — начал оправдываться Иван, — честное слово не пьяный. И на тополь я залез по делу.

— Конечно, не пьяный, — отвечала ему Кланька. — Был бы пьяный, так не то что на тополь, на крыльцо не взошел. А вот что выпимши был, это уж точно.

— Нет, — продолжал стоять на своем Иван, — трезвый был как стеклышко, вот те крест.

— А чего же на тополь тогда полез, коли трезвый был?

— А я вот и говорю, что полез за коровой.

За столом засмеялись.

— Точно, не пришла с табуна. Искал, искал — нет нигде. Глядь, а она, подлая, на луне сидит. Вы только представьте себе, на луну корова забралась. А у тебя, Николай, сам знаешь, лестница — километровая. Вот я и решил...

Иван, расшумевшись, стал бить себя в грудь кулаком:

— Раз не верите — пошли на улицу. Я вам там все покажу.

— Да верим, верим, — стали успокаивать его бабы.

— Нет, пойдете!

— А что, пойдете, — стал подыматься из-за стола Мишечка Крутяков. У него азартно заблестели глаза. — Интересно же в конце концов поглядеть. Я, к примеру, еще никогда не видел корову на луне.

— Идемте! — подхватился с места и сам Голованчик.

5.

Выскочили на улицу. Где корова? Где Луна?

А на улице темень, глаз выколи, небо в тучах — какая в таком случае может быть корова. Ясно, что никакой. Ни коровы, ни луны.

— Иван, а Иван, — закричал раздосадованный Мишечка, — где корова-то? Показывай!

— А показывать, сами видите, нечего.

— Ты, брат, в самом деле врать здоров, — говорят Ивану.

Погалдели, погалдели да снова в избу пошли. А Иван хоть и пьяный был, но стоял как оплеванный. Благо, что темно на улице.

Все в дом зашли, а он все стоит.

— Да ну вас всех подальше, не верите и не надо, — только и нашлось у него слов.

Махнул Иван рукой да поплелся домой.

Пришел Иван домой позднехонько — в первом часу.

— Ну, нашел, корову-то? — спросила его жена, уже улегшаяся спать.

— Все в порядке, — отвечал ей Иван. — Все в порядке, корова в целости и сохранности — на луне.

— Будет молоть-то, — озлилась жена, увидев, что муж пьяный. — Чего ради нажрался, с какой стати? Корову-то хоть нашел или нет?!

— Не волноваться, только не волноваться. Сказано нашел — значит нашел! Все в ажуре. Там она. — И поднял указательный палец вверх. На этом разговор закончился.

6.

Наутро, как и следовало ожидать, жена принялась ругаться, не беря во внимание никаких объяснений мужа. Иван поначалу пытался огрызаться, но потом понял, что дело бесполезное. Оставалось одно средство — молча дожидаться вечера, чтобы сразу, не скандаля и не переводя на бесполезные разговоры время, показать корову в натуре. Если, конечно, погода не будет пасмурной.

Вечером, как только стемнело и луна стала снова совершать свой привычный путь в небесах, Иван вышел и увидел свою корову. Она и в самом деле была в целости и сохранности.

Иван позвал жену. Жена поначалу заартачилась, мол, нечего из меня дурочку-то делать, но потом все-таки вышла. Сын Васька, невесть где мотавшийся целый день, тоже вслед за матерью выскочил из дома.

Луна потихоньку поднималась над кромкою сада. На ней Марьясовы увидели свою корову Куклу, которая стояла на бледном диске луны как ни в чем не бывало.

— Да что же это такое, а? — ойкнула жена. — Иван, да что же это такое?

И стала звать корову.

— Кукла, Кукла!

Кукла, услышав хозяйкин голос, повернулась, вытянула шею и протяжно замычала. Васька от удивления так вытаращил глаза, словно смотрел новую серию «Ну, погоди!».

— Иван, Иван, — ткнула Ивана в бок жена, — второй день стоит бедная. Не кормленная ведь, не поенная, не доенная. Так ведь корове-то недолго и испортиться.

— А что, я ее туда затащил?

— Ну вот, сразу затащил. Делать-то что теперь будем?

— Что будем, что будем... Снимать будем...

На том и окончилось воскресенье.

7.

В понедельник Иван еще издали увидел, как Мишечка Крутяков на пару с Голованчиком, чересчур весело поглядывая в его сторону, что-то оживленно рассказывают мужикам. Иван сразу понял, что речь идет о нем. Тем более Мишечка слыл в деревне большим мастером чесать язык.

«Трепушка чертов, — подумал Иван про Мишечку. — Ясно, что разнесет теперь по всей деревне. Тут и к бабке ходить не стоит. Голованчик еще так сян, а Мишечка — непременно разнесет». Так оно и вышло.

Уже через день вся деревня знала, что Марьясов Иван, пьющий весьма умеренно, напился прошлой субботой до соплей, залез у Голованчика на двор, со двора по лестнице на тополь, сидел там и невесть чем занимался. И лишь сам Голованчик кое-как его оттуда стащил. Стащил да и спрашивает, что же ты тут, мил-человек, делал-то? А он, мол, ему отвечает: за коровой я своей лазил.

— Ох, ох! — катался от смеха народ, и, обрастая подробностями, новость эта продолжала свое торжественное шествие по селу.

Деревенский дурачок Толя Толоконцев, аккуратно разносивший по дворам всяческие деревенские новости, рассказывал, что своими глазами видел, как Иван две недели назад в двенадцатом часу ночи сидел на черемухе возле Колупаева переулка, махал руками и пел во всю глотку матершинные песни. А еще Толя божился, что видел Ивана на крыше дома знаменитой Нюрки Барсуковой. Но чем он тогда там занимался, Толя якобы не разглядел.

— Точно! — мотал Толя головой, рассказывая в очередной раз «новость». — Нисколько не брешу. Все как есть правда. Я даже про него, про дурака полоумного, уже и песню сложил.

— Сам сочинил? — удивлялись Толе.

— Сам. Вот слушайте.

И пел:

Как Марьясов наш Иван
Всю неделю ходит пьян.
По деревьям ночью лазит,
Словно старый обезьян.

Посмеялись, конечно, люди над Иваном изрядно, да только посмеявшись, через день-другой и позабыли о случившемся. Лишь за редким случаем кое-кто из суеверного народца отваживался взглянуть в ночные небеса, да только бесполезно было их любопытство — тучи плотным покрывалом запечатали небеса, скрыв от их взора все зримое, в том числе и луну. Дело клонилось чуть ли не к дождю, потому не мудрено, что люди марьясовскую корову не могли увидеть. И причислив случай с Иваном и его коровой к анекдотическим происшествиям, стали забывать это забавное приключение.

Вот какая занятная история приключилась с Марьясовым Иваном, механизатором колхоза «Трудовая слава» Сараятского района Коломняжинской области.

Правда, людям эта история смех да забава, а Ивану забота: корову-то как-то надо выручать. И вот чтобы снять корову с луны, по вечерам после работы украдкой от соседей стал Иван мастерить хитроумную лестницу. Это была лестница с весьма сложным механизмом, при помощи которого Иван намеревался поддеть корову в небесах, а затем аккуратноенько возвратить на землю. Но вот беда — на лестницу не хватало лесу.

— Надо будет в колхозе выписать теса кубометра два, — решил Иван. — Что останется — двор подправлю.

8.

Председатель колхоза Прохор Иванович Селезнев слушал Ивана внимательно. Выслушав же, спросил: «А на какие цели потребовался тебе лес?»

Когда Иван ответил, что собирается поправить старый дворишко, то он, улыбаясь, заметил, что слышал, будто он, Иван, вечерами мастерит какой-то аэроплан.

— Так уж не на аэроплан ли лес тебе понадобился.

— Да нет, не на аэроплан, — ответил Иван, а про себя подумал, что слухи эти не иначе как дело соседки Степанихи, которая не упустит момента поглядеть, что люди в своей ограде делают. — Мне бы двор желательно подремонтировать.

— Дело, конечно, нужное, — немного подумав, сказал председатель, — да только вот беда — нет нынче в колхозе леса. Есть, конечно, небольшой запас, так у нового коровника вот-вот крышу начнем ставить. А лесу у нас этого только-только... Вот такие у нас с лесом дела.

— Ну что же, — сказал Иван, — на нет и спроса нет. Ладно, как-нибудь обойдемся.

— Ну, а как насчет коровы? — полюбопытствовал председатель. — Слышал я, что у тебя корова потерялась.

— Да было дело.

— Нашел или нет?

— Корову-то? Нашел...

— Да где ж?

— А на луне.

— Хм. Интересно. А ведь раньше за тобой такого вроде бы не замечалось. Гляди-ка, корова на луне. Шутник!

— Да я не шучу, а правду говорю.

Председатель, хитро усмехнувшись, пристально посмотрел на Ивана.

— Мх??

— Да нет, точно!

— Да?

— А вы вечером, если погода будет не пасмурной, возьмите и поглядите. Вот вам и все шутки. С утра на небе ни одной тучки не было, так что будете смотреть, наверняка увидите.

9.

Вечером изрядная толпа колхозников собралась около конторы — наблюдать явление марьясовской коровы на луне. Погода не подкачала — небо было чистое. И как только луна взошла над колхозным садом, все от удивления так и ахнули, а ахнув, стали в недоумении протирать глаза — столь удивительная картина открылась перед ними: поднималась в ночном небе луна, а на ней смирнехонько стояла пестрая корова, в которой все сразу же признали марьясовскую Куклу.

Потом люди стали строить различные предположения и увязывать свои познания о космических науках с настоящим удивительным фактом — с фактом появления марьясовской коровы на луне.

Бабки, поминая писание, твердили, что все это не к добру, не иначе как к войне, но люди помоложе и грамотней отметали подобные утверждения прочь и заявляли, что войны в наш век не будет. Дед Копытов, известный в деревне философ, тоже был здесь, тоже ахал, искренне со всеми удивляясь:

— Вот мать моя неродная, сколько лет уже на белом свете живу, а такого еще видеть не приходилось. Ну и дела... Правда, в тысяча девятьсот десятом году был такой случай, когда у Ефима Золотухина корова в старый колодец ввалилась. Так всей улицей ее потом вытаскивали. Такое было. Как сейчас помню. А вот чтобы корова на луну затрескалась, такого не выдывал.

Дед сокрушенно мотал головой.

— Я так полагаю, — продолжал дед, но деда мало кто слушал. Мало ли что было когда-то там при царе Ереме, когда люди не имели понятия, что такое перина и спали на соломе. Теперь про те времена пора забыть.

10.

Так или иначе, но порешили колхозники, что нужно выручать Ивана и снимать с луны корову всем миром, потому как дело это совсем не простое и даже самому башковитому и мастеровому мужику в таком деле никак не справиться. Но одно дело решиться помочь человеку, а как это сделать?

Тут мнения разошлись. Кто-то сказал, что голову ломать над этим не стоит — нужно лишь сообщить кое-куда повыше, дело это поручат космонавтам, а уж они, будьте уверены, свое сделают — им в космосе не в первой подвиги совершать...

Но тут же все решили, что отрывать космонавтов от важных дел, которых у них по горло, а может быть, и того больше, ради какой-то там коровы, будет явно неразумно.

— Народ у нас боевой, работающий, смекалистый, — сказал бригадир Степан Егорович, — и если это дело хорошо обмозговать, то, пожалуй, можно будет справиться собственными силами.

Так сказал Степан Егорович, а председатель Прохор Иванович с ним вполне согласился, так как тоже считал, что тревожить вышестоящее начальство по такому пустяковому поводу совсем не резон. Мало ли у кого куда скотинка забралась? Сегодня у Марьясова корова, а завтра у Протасова свинья. Что ж, прикажете по каждому случаю в район звонить? Как-нибудь выкрутимся своими силами. Позвони в район — там могут понять неправильно, либо не понять совсем. Кроме того, были у Прохора Ивановича и иные обстоятельства лишний раз не лезть начальству на глаза: в этом году колхоз не очень удачно провел посевную кампанию.

Посудили, порядили и сошлись на мнении, что самое разумное — соорудить большую лестницу с кое-какой механизацией, в общем то, что имел в проекте сам Иван. Правда, предлагались размеры несколько больше. Но тут стал возражать главный инженер:

— Во-первых, — сказал он, — с технической стороны это самая настоящая художественная самодеятельность. Не более! А во-вторых, вы подумали о том, как вы корову оттуда будете опускать на землю.

Этого никто толком не знает.

— Как вы ее спустите? — допытывался главный инженер.

— Я думал блок на конце лестницы пристроить, — молвил было хозяин коровы.

— Опять художественная самодеятельность, — возразил главный инженер. — И к тому же технически отсталая мысль.

И, обратившись уже к председателю колхоза, продолжал:

— Вот у меня, Прохор Иванович, на этот счет есть одна идея.

— Это какая же?

— Да весьма интересная.

— Ну а коли интересная, так выкладывайте.

И главный инженер начал излагать свою интересную идею.

11.

— Я предлагаю, — сказал он, — сделать высокую эстакаду из металла возле фермы. Машина с сеном заезжает на эту эстакаду, и механизмом сено стаскивается в огороженное сеткой пространство, где будут у нас храниться все грубые корма. Конечно, здесь много тонкостей и голову придется поломать основательно, но техническую сторону дела я целиком беру на себя.

— Постой, постой, — остановил его председатель. — Я что-то тебя совсем не пойму. Говорим-то мы про корову на луне, так при чем же здесь эстакада, сенозаготовка и разные технические тонкости, над которыми нужно ломать голову? К тому же и саму эстакаду построить не так-то просто. Какое хоть отношение это имеет к корове-то?

— Самое непосредственное, — нимало не смущаясь, отвечал главный инженер. — Вы только выслушайте меня до конца... Если говорить о затратах на строительство, то они не столь уж велики, если говорить о сроках, то своими силами вполне можно уложиться в двухнедельный срок. Главное тут вот в чем: построив эту высокомеханизированную эстакаду для разгрузки машин с кормами, мы с вами высвободим без малого человек тридцать людей, занятых только на одной разгрузке. А кроме того, мы высвободим несколько тракторов «Беларусь», которые сможем использовать в других местах. Экономический эффект от постройки будет большим. Я за это ручаюсь... Но ведь главное в другом — главное то, что мы высвободим большое количество людей, которых будем использовать в другом месте. А с людьми, сами знаете, как у нас в летнюю пору.

— Да, — сказал председатель, — пожалуй, говоришь ты дело. Только вот как с коровой-то?

— А с коровой дело обстоит еще проще. Мы на эту эстакаду загоним пожарную машину и автокран. По лестнице пожарной машины кто-то слазит за коровой, а с другой стороны автокран за крюк поднимет клетку. Корову загоняем в клетку, вира-майна — и корова на земле. Только придется стрелу у автокрана и лестницу у пожарной машины раза в два удлинить. Вот и все. А остальное, думаю, рассказывать не стоит. Или стоит?

— Да нет, не стоит, все понятно, — отвечали ему.

Только зоотехник Чепурняев усомнился: а устойчиво ли будут стоять машины на эстакаде? Не дай бог перевернутся.

— Ну, Евгений Васильевич, у вас вечные страхи, — отвечал ему инженер. — Мы их закрепим и они будут стоять очень надежно. Это элементарно можно устроить.

Больше возражений ни у кого не было. Все согласились, что проект сей — весьма удачное сочетание приятного с полезным: и корову злополучную снимут, и внедрят новый эффективный способ разгрузки и скирдования грубых кормов.

— А где мы металл возьмем? — вдруг задает каверзный вопрос главному инженеру хозяйственник Сухаренко Петр Емельянович.

— Разберем старую зерносушилку, пока она вконец не поржавела. Так что вопрос с металлом решен.

— С металлом решен, — вновь встрял Чепурняев. — Да ведь пока мы тут с вами возимся, корова сдохнет.

— Две недели стоит и не сдохла, а тут сдохнет. Вы только гляньте на нее, какая она гладкая.

Все стали разглядывать корову на предмет исхудания. Долго рассматривали, но ничего особенного не нашли: корова выглядела неплохо и сдыхать совсем не собиралась.

— Ну что, товарищи, — стал подводить мнение специалистов к одному итогу председатель. — Я думаю, что эстакада — дело стоящее.

— Стоящее, — отвечали ему.

— Ну и добре! Раз вы так считаете — будем строить. Самое главное, конечно, что столько людей освободим. Да и заодно решим вопрос с коровой. Только ты, Эдуард Петрович, — обратился он к главному инженеру, — не подведи. С этим делом нужно будет за две недели управиться.

Главный инженер не подвел: через две недели эстакада была готова.

12.

Вечером возле нее толпилась вся деревня. На вершине эстакады, устремив в небо удлиненные металлические члены, стояли колхозная пожарная машина и автокран. Тут же была и клетка, предназначенная для транспортировки коровы. Клетку необходимо было поднять краном, чтобы потом загнать в нее корову.

Демонстрируя мастерство, электрики заблаговременно провели свет, включили два прожектора. Все это напоминало стартовую площадку.

Собравшийся народ волновался. По площадке бегал главный инженер и давал указания. Тут же рядом с ним бегал Марьясов Иван. У Ивана в руке был отменный бич, который ради такого важного дела ему одолжил пастух Егорка Куплетов.

— Бич-то для чего? — спрашивали Ивана.

— Для учебы, — пояснил тот.

Бригадир Степан Егорович ходил среди людей и просил соблюдать порядок.

Ребяшня сновала под ногами. Тут же толкались большие охотники до советов и чесания языков, вроде Мишечки Крутякова.

Председатель Прохор Иванович стоял в стороне и молча наблюдал за разворачиванием событий.

Наконец взошла в небесах луна. Наступил торжественный миг.

К Ивану торопливо подбежала жена — позабыла, оказывается, дать пару советов. Сын Васька терся возле отца и все просился взять его с собой.

И вот главный инженер махнул рукой, и Иван полез по лестнице. Благополучно добравшись до луны, он загнал корову в клетку, клетку закрыл на щеколду и для основательности завязал еще проволокой. Затем дали команду крановщику. Он стал осторожно опускать клетку с коровой на землю. Следом по лестнице спускался Иван.

Итак, корова благополучно вернулась на землю. Иван на радостях хотел было ее оттянуть хорошенько вдоль спины бичиком, да передумал: как-никак не чужая корова, своя.

Народ обступил корову со всех сторон: все стараются на нее хорошенько поглядеть да потрогать. Интересно же, в самом деле, не всякой корове доводится на луне побывать. Только ничего необычного в корове обнаружить не удалось. Корова как корова. Словно возвратилась она только что с табуна, а не с луны.

Иван опосля хотел было сдать корову на мясо и даже присмотрел себе подходящую корову для покупки, но тут обнаружилась одна удивительная деталь — корова, после того как побывала на луне, стала давать по три ведра молока в день. И это при обычной кормежке.

В самом деле, есть чему удивляться.

Районная газета по этому поводу поместила на своих страницах в разделе «Интересное — рядом» заметку, и пошла после этого по району гулять слава о Ивановой чудо-корове и о ее необычайных приключениях. А потом коровой заинтересовалось районное начальство — от района потребовался на областную выставку экспонат. Решили, что лучше Ивановой коровы ничего придумать нельзя.

Колхоз обменял у Ивана корову на другую, тоже неплохую, но более спокойную. Правда, новая корова давала молока поменьше, но за это дело колхоз Ивану хорошо приплатил, и Иван не остался внакладе. Теперь корова Кукла ехала в областной центр как экспонат от колхоза «Трудовая слава».

С областной же выставки корову отправили в Москву на ВДНХ. А там, в Москве, слышно было по разговорам, передали ее в академию наук. Говорят, что она сильно заинтересовала ученых. У них будто бы в голове идея возникла: нельзя ли, мол, таким способом поднять на небывало высокий уровень удои молока по всему поголовью дойных коров.

Говорят, что работа в этом направлении движется успешно и будто бы имеются уже обнадеживающие результаты. Основная трудность видится в массовой транспортировке скота туда и обратно. Но со временем наука и техника обещают разрешить положительно и этот вопрос.

1975 г.



Пешков Александр Владимирович родился в 1959 г. в поселке Тальменка Алтайского края. В 1981 г. окончил архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института. Живет и работает в Барнауле.

В альманахе публикуется впервые.

✓ **Александр ПЕШКОВ**

ВАРЯ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

1

В Потсдам приехали пасмурным туманным утром. На чистом перроне их встречал высокий черноусый офицер в плащ-палатке с темными от дождя плечами.

— Доброго здравия, дорогие соотечественницы, — козырнул он, — майор Захаров...

Они направились к ажурной решетке с облупленными кирпичными столбиками, за которой ожидала, фыркая сизым дымом, черная машина.

— Прошу в укрытие, — пошутил майор.

Машина легко снялась с места. Из тумана выплыли железные формы, колонны с ржавыми капителями, мокрая стена из грязно-красного кирпича, возле которой груды исковерканного железа, и стояло заботливо прислоненное колесо от телеги.

— Здесь дождь когда-нибудь кончается? — спросила Варя, протирая маленькой ладонью запотелое стекло.

— Кончается. Вы давно в Германии?

— Три недели.

— Привыкнете. Хотя у нас двух девушек отправили домой. Климат неважный.

Шофер, солдат с оттопыренными розовыми ушами и тонкой мальчишеской шеей, лихо гнал машину по узким кривым улицам, вспенивая лужи на брусчатой дороге. Майор, сидевший впереди, развернулся к девушкам.

— Из Сибири, наверно?..

Под пышными усами Варя заметила у него немного выступающий красный рубец.

— А что, заметно?

— Личное предположение.

— Угадали.

Вдоль дороги, напрягая тяжелые мокрые ветви, стояли яблони и груши, аккуратно побеленные, хотя на фасадах многих домов еще не заделаны были выбоины от пуль и осколков. Чувствовалась растерянность, как в доме, жильцы которого не знают — отремонтировать его или строить новый. Навстречу машине то и дело попадались молодые и старые немцы на велосипедах. Особенно удивляли старухи в шортах с голыми посиневшими коленками.

— Русский собор, — сообщил майор бесстрастным тоном. — Действующий. Открыт после войны с разрешения нашего правительства. Для эмигрантов.

— Каких эмигрантов?

— Сюда приезжают русские эмигранты из Англии, Франции, других стран... Архиепископа назначил московский синод.

Из-за поворота взметнулся золочеными главками величественный собор. Подобное девушки не раз видели, проезжая через Россию, но здесь, в немецком городе, это произвело совершенно неожиданное впечатление.

Захаров знал, что вновь прибывшие, в особенности женщины, с удивлением и подсознательной радостью рассматривают русский собор. Вероятно, потому, что люди приезжают и уезжают, а он стоит себе как частица России.

— А вот за той дубовой рощей находится русская деревня. — Майор слегка качнул крутым подбородком влево. — Ее, как и собор, завели здесь еще по приказу Петра I.

— А кто там сейчас живет?

— Обыкновенные немцы.

Воинская часть с пятизначным номером была небольшим поселком, огражденным сетчатой решеткой. Сразу около въезда, в двухэтажном белом здании с балконами на круглых колоннах, располагался штаб, за ним влево — кирпичные казармы, хозяйственная часть, во дворе которой бегали солдаты в гимнастерках без ремня. В глубине поселка, на тихой улице, бывшей городской окраине, стояли двухэтажные коттеджи с темно-вишневой черепицей: здесь жили офицеры и вольнонаемные. Деревья вокруг имели вид довольно запущенный, решетка ограды местами покосилась, а кое-где, выбитая, была просто прислонена к стволам.

И еще одно из первых впечатлений, запомнившееся Варя: множество одичавших кошек на улицах.

Поселили девушек на втором этаже коттеджа в трехкомнатной квартире. И хотя каждая из них имела свою комнату, первое время ночевали все в одной — страшно было.

Вскоре три подружки стали предметом обожания всей части. Вера — широкоскулая, с длинными тонкими пальцами, из Красноярска, великолепно играла на баяне. Генерал Чуйков, не раз слышавший ее заливчатый перебор, подарил ей немецкий красавец аккордеон с двумя регистрами и рояльными клавишами. Тамара — курносая, с круглыми карими глазами и стройными жилистыми ногами, была из Читы. Когда она плясала «цыганочку на ярмарке» — улыбалась даже всегда молчаливая Гертруда, убиравшая в их доме. Варя же славилась красотой и голосом...

Первое время Варя обедалась яблоками и мясом, так что очень скоро ее худенькие плечи и выпирающие ключицы округлились, а лицо засияло, что белый налив. Она купила себе недорогое пианино с вделанными бронзовыми подсвечниками, ковер, который повесила на стену, овальное большое зеркало в золотой резной оправе.

Немного освоившись, веселые сибирские «птахи» превратились в милых шеголих. Шили себе наряды в частных немецких ателье, покупали модные вещи в маленьких магазинчиках с полутемными залами и большим количеством боковых дверей. Это было небезопасно: нередко хозяйин, определив в покупательнице русскую, смотрел в окно и, только заметив на улице машину с сидящим за рулем офицером, начинал любезно спрашивать «фройлен», что ей угодно.

Варю подвозил на машине адъютант командира части черноусый Захаров. Он галантно принимал свертки из ее рук, быстро укладывал их на заднее сиденье, усаживал Варю, придерживая за локоток, и лихо хлопал дверцей.

— Опять в двух экземплярах?

— Да. Петренко просил для дочери. Надо еще в шляпный заскочить.

— Варенька, с вами хоть куда!

Майор осторожно положил руку на спинку соседнего сиденья.

— Кажется, Петренко посылает красивые вещи в Москву обожаемой актрисе...

— Разве?

— Ну как же! В нашей части почти все фильмы идут с ее участием...

Варю это мало волнует. Вдруг, что-то вспомнив, она озаряется детской улыбкой:

— Сейчас у немца цыплят видела. Хорошенькие такие! Малюхастенькие. За перегородочкой. Так захотелось их потрогать!..

Она сложила ладони лодочкой и плавно покачала воображаемого цыпленка.

Майор засмеялся, поправляя козырек фуражки.

— Не глядите на меня так, Николай Сергеевич.

— Как не смотреть?

— Вы сами знаете...

— Нет, Варенька, не знаю. Ей-богу, не знаю! Вы такая непосредственность.

— А что вы все смеетесь?

— Сам не понимаю. Как-то беспричинно. Вернее, причина есть, это — вы, милая, русская!

— Деревенская, если сказать точнее.

— Пусть так. Но главное — не военная! Я понимаю Петренко, когда он берет вас на все конференции.

— Он говорит, я ему дочь напоминаю.

— Вы все мирное напоминаете.

Машина мягко споткнулась возле крыльца Вариного дома. Помогая занести покупки, майор заинтересовался:

— А что вы делаете по вечерам?

Девушка смущенно ответила:

— Реву!

— Что?! Как, то есть...

— Если письмо получу из дома, или дождь целый вечер, то реву, как корова...

Первый год Варя особенно тосковала по Родине. Когда по приемнику передавали русские песни, особенно старинные, те, что певали в их селе, глаза ее тонули в слезах. Тогда она снимала с себя «немецкий балахон» — толстое шерстяное платье с чрезмерно подбитыми плечиками, одевала ревностно хранимое старенькое ситцевое, кидалась подкошенно на кровать и, выражая чувство тоски тихим подвыванием, вторила мечущимся в динамике голосам Виноградова или Руслановой, потом забывалась и засыпала здоровым сном молодой девушки.

2

На службе Варя была аккуратна, исполнительна и не любопытна, и по истечении двух лет срок контракта ей продлили.

Теперь подружки перестали высживать свою тоску взаперти: природное кокетство, любопытство к жизни, жажда внимания влекла их к развлечениям и легким проказам. По выходным всегда в обществе молодых офицеров они любили гулять в парке для русских. Катались на карусели, изображающей шатер цирка с яркими экзотическими бабочками на бортах, под духовой оркестр танцевали на дощатой террасе, уходившей на опорах далеко в парковый пруд. В жаркие дни на пруду купались и загорали: женщины в цветных закрытых купальниках, мужчины в уставного цвета трусах. Иногда озорная Тамара надевала чьи-нибудь сапоги и китель, забиралась на террасу и под общий смех ловко выплясывала «яблочко». Вечерами бродили по чистым, непривычным

для русского глаза пустым аллеям. Фотографировались почти возле каждой, исполненной неги или героизма, гипсовой скульптуры, просо-вывая головы в овальные решетки Золотых ворот.

Ходили смотреть полуреставрированный замок Фридриха младше-го — кузена Петергофского дворца. Возле огромных арок-окон Варя заметила своему неизменному спутнику:

— Майор, посмотрите, в отвисшем галифе вы похожи на подгуляв-шего цыгана!

На смех молодых голосов испуганно поднимала голову в мягкой шляпке старушка-служительница, дремавшая возле входа. У Захарова краснел сильнее обычного рубец под усами, но он, пытаясь попасть в шуточный тон, парировал:

— Ах, Варя, зачем вам еще и язык? У вас брови, как луки, а глаза... Но Варя перебивала его словами романа:

Зачем тебя я, милый мой, узна-а-ла.

— Стрелы, изранившие сердце храброго адъютанта, — добавляла Тамара.

Ах, лучше бы я горяшка не зна-а-ла,
Не билось бы сердечко у меня.

У Вари была счастливая способность: подхватывать смысл разгово-ра и импровизировать его дальше словами песен или романсов. Она давно усвоила, что эта уклончивая шалость спасает ее от многих серь-езных или трудных вопросов, и пользовалась этим с большим успехом.

— Ну, майор, что вы такой скучный?

Захаров делал шаг назад, закуривал, чтобы скрыть смущение, а в это время молодая проказница ловким движением срывала с его голо-вы фуражку.

— Варя! Ну что еще за шутки?

— А мы сейчас водрузим ее вот сюда, набекрень.

И она напяливала форменку на голову прилегшей гипсовой феи. Захаров досадно приглаживал взъерошенные волосы и вздыхал: «Дев-чонка!»

Среди подруг Варя выделялась броской красотой: серые, чуть при-щуренные в густых ресницах глаза, тонкая нитка пробора между двумя серпами блестящих черных волос. Одевалась она по-цыгански ярко: зо-лотопарчевая кофта с широкими рукавами и янтарными пуговицами, цветные юбки...

В дождливые вечера компания девушек собиралась дома, обычно у Веры в комнате с голубыми обоями. Варя приносила патефон с тяже-лой изящной головкой. Слушали популярные песни, особенно часто — «Здесь под небом чужим...». Потом под Верин звучный аккордеон — та-кой большой, что видны были только колени и светлорусая голова, упершаяся подбородком в блестящую планку, — пели свои любимые песни:

Да нет родней родного края,
Березки русской нет родней...

Подперев головы, запустив пятерню в буйные чубы и светясь стри-женными затылками, basiли негромко молодые ребята, хмурясь и нерв-но покусывая губы, подпевала не любившая грусти Тамара, высоко вы-водила Варя. В такие минуты ей вспоминалась родная деревня, тишина возле запустелой церкви, заливные луга на низком берегу Кручинки. Румяные сумерки, а меж весенних разливов — бредущие кони. На глаза легко выступали слезы.

Но переход от слез к бурному веселью бывал у нее почти мгновен-ным. Тогда круглый стол сдвигали в угол и устранялись танцы. Шалую цыганочку перемешивали с лихой «Коробейники», потом непременно вальс, а подустав — томное танго.

Компанией засиживались допоздна. Иной раз гостей укладывали в передней на жесткий диванчик. Это было небезопасно: один лейтенантик даже попал однажды на «губу» — ночью развеселившиеся девушки накрасили ему лаком ногти, а обнаружил он это, когда отдавал рапорт перед строем.

В старинном здании Дома офицеров в выходные дни давались балы. Высокие колонны, уходящие расплывчатыми отражениями в блестящий паркет, вспыхивающее серебро и медь труб оркестра, сверкающие сапоги, золотые погоны на резко очерченных плечах, величественный нежный вальс «Оборванные струны».

И Варя в белом платье, с высокой пышной прической, боязливо положив руку на твердый прохладный погон, кружится с Захаровым, замирая сердцем, наслаждаясь красотой и мимолетной властью. Меняются вальсы и кавалеры, а она все кружится и кружится, впитывая в себя торжественные звуки музыки, ловя на себе восхищенные взгляды.

Все смешивается в один стремительный и блистающий круг, над которым царит торжественная музыка, казавшаяся ей гимном молодости, силы и счастья.

Однажды Варя возвращалась из Дома офицеров одна: убежала от ревнивого майора.

Чтобы сократить дорогу, пошла напрямик, через склады. Неожиданно впереди появился силуэт:

— Стой, кто идет?

— Свои, — даже обрадовавшись, крикнула Варя и сделала несколько шагов.

— Ни с места! Буду стрелять!

— Сопляк, будешь мне...

Солдат хрястнул затвором, крикнул: «Ложись!» и выстрелил вверх. Ноги девушки подкосились сами собой, и она бухнулась на мокрую, затоптанную сапогами траву.

Прибежал дежурный офицер с фонариком.

— Часовой, кто стрелял? — закричал он еще издали.

— Неизвестная личность. Отказалась подчиниться приказу, — отчеканил солдат.

Офицер осветил испуганное лицо лежавшей — узнал Варю.

— А, певица! Ну, вставай.

Варя смущенно поднялась, досадливо отряхиваясь и еще больше размазывая грязь по платью...

Дело обошлось домашним арестом.

В июле инспектировать часть приехал генерал-лейтенант Воскобойников. Хозяйство генерала Петренко он посещал не в первый раз и особенно любил его самостоятельность. Вечером после хлебосольного ужина в Доме офицеров по традиции состоялся концерт.

— А где у тебя маленькая, с косицей? — спросил гость после пятого номера. Петренко обещал уточнить программу и быстро отдал распоряжение адъютанту. Тот, стерев улыбку, с достоинством вышел из зала и помчался в сторону гауптвахты.

Дело было в том, что вчера, узнав в солдате, дежурившем под окнами штаба, часового, Варя из окна своего кабинета выплеснула на него графин воды. Петренко в ярости приказал посадить хулиганку на гауптвахту. Но так как женской «губы» не было, ее заперли в коптерку для дежурного офицера. Поставили туда железную кровать с жестким матрасом и грубым солдатским одеялом.

Захаров открыл легкую дверь, тяжело двигая ребрами под мундиром.

— Генерал приказал тебе петь!

Варя сидела на кровати в черном платье с помятой розочкой на

плече и штопала чулок, помахивая обнаженной до колена ногой. О приезде Воскобойникова она знала.

— А вот не пойду!

— Варя!

Сижу за решеткой, в темнице сырой...

— Варя, я тебя прошу.

Вскормленный в неволе орел молодой.

Захаров опустился подле, осторожно тронул ее за плечо:

— Варя, не дури!

— Не тронь!

— Ну, Варенька...

— А что, Коленька, не пойду — сам петь будешь?

— Варя, быстрее, не до шуток сейчас.

Девушка резко встала и с силой рванула с плеча мятую розочку... За кулисами, малиновая, с мокрыми волосами на лбу, Вера лишь успела сказать: «Давай, Варюха, Томка уже все каблукы сбила».

Зал встретил ее дружескими аплодисментами. В стрелчатых сводах пробежал и затих последний шум и кашель. Она поперхнулась от волнения, долго не могла успокоиться. Затем шепнула Вере, и под одобрительные возгласы та заиграла совсем не по программе.

Не брани меня, родная...

Запела Варя, прижимая руку к груди и обращая озорные и печальные глаза в сторону размягшего в кресле генерала.

Что его я так люблю,
Скушно, скушно, дорогая...

И вдруг, с грустной дерзостью, закончила куплет по-своему:

На чужбине одному!..

3

Это случилось в пятую осень. На улице, недалеко от части, неизвестная машина сбила возвращавшуюся из поликлиники Тамару. Убийцу не нашли.

Среди железных пирамидок с красными звездочками и мужскими лицами на фотографиях в тихом осеннем лесу — кладбище для русских — далеко выделялась свежая могила. Вокруг стояли девчата с заплаканными лицами, офицеры с фуражками в левой руке. Отслужившие листья немецких кленов безучастно сыпались на русскую могилу.

Варя вздрогнула от капель начавшегося дождя, попавших ей на лицо. С тоской посмотрела на фотографию подруги — там уже прочертились мутные косые следы. Есть особая печаль в кладбищенских фотографиях: они будто визитные карточки иного, непостижимого мира, последняя точка человеческого отсчета. Они отличаются от альбомных фотографий, которые сами живут и напоминают о жизни. Кладбищенские фотографии — занавес вечности.

В последний год между ними произошло некоторое отчуждение из-за того, что Тамара легко согласилась на предложение Захарова выйти за него замуж. Хотя Варя и рассталась с ним, ее самолюбие было задето тем, что подруга не пришла к ней за негласным молчаливым «благословением».

«Господи, ты свидетель, — внутренне содрогалась Варя. — Никогда не желала ей зла! Обида была. Даже вернуть к себе Захарова хотела, счастье подружкино расстроить. Сгоряча многое навывдумывала, но смерти, всем, что есть святого, клянусь, смерти и в мыслях не желала! Ни-

когда! Господи, судьба какая. Все что угодно, но не приведи только помереть на чужбине!»

За пять лет жизни в Германии Варя сильно изменилась: стала раздражительна, насмешлива, часто жаловалась на скуку. К ее положительным качествам прибавилась почти немецкая любовь к чистоте и порядку. Она теперь с трудом принимала шумные компании гостей, вносящих беспорядок в ее уютную квартиру. Терпеть не могла неряшливость: расхлябанные пуговицы, несвежие подворотнички, смятые носовые платки в оттопыренных карманах. Одевалась с большим вкусом, покупала красивые вещи, но уже мало радовалась им. Любила подолгу стоять у позолоченного двухметрового зеркала, работы прусских мастеров — черное бархатное платье под стать ее бархатной косе, белоснежные кружевные манжеты, в глубоком вырезе покоится кулон с черным агатом в золотой оправе. За спиной видны бронзовые резные ручки рам, туалетный столик, и отражающиеся в другом зеркале изящные флакончики духов и прочая парфюмерия. Взгляд неподвижный, рассеянный, усталый. Она будто не узнавала себя в этой красивой горделивой даме, чувствуя внутреннее недоразумение, какое случается, когда человек получает от судьбы слишком большой дар. Не признаваясь еще самой себе, она ревностно высматривала в отражении зеркала следы уходящей молодости: да, она еще красива и многим нравится, но нет уже прежнего желания безудержно смеяться, капризничать, глупить...

Варя с вновь обострившимся чувством скучала по Родине. Особенно весной, когда весь городок пенился и разливался цветением яблонь, груш и барбарисов, когда на пасху благостно осенял колоколами вечерние сумерки русский собор.

Презрев все запреты, ходила она через дубовую рощу, за которой располагалась танковая часть, к русской деревне. Прислонившись к желтоствольной березке у околицы, Варя долго всматривалась в темные бревенчатые дома, коньки с петухами, резные наличники, гуляющих по улице нешумливых ребятишек. Она прикрывала глаза и вспоминала родное Кручинное, ласковую речку, простенькую церковь и голубое небо. Милым ей виделось и березовое кладбище на высоком холме — место, связывающее живущего человека со всем его далеким родом.

После петровской деревни Варя шла к храму, долго не решаясь стряхнуть отпечаток березовой коры на сером макинтоше.

Она садилась на скамеечку недалеко от входа и, опустив вуаль со шляпки, слушала вечерний перезвон и русское пение, доносившиеся из золоченого полумрака открытых дверей.

Однажды к ней подсел старик и, держа дряблыми фиолетовыми пальцами серебряный набалдашник трости, спросил на довольно сносном русском языке:

— Вы русская?

И хотя разговаривать на улице с незнакомыми людьми было запрещено, увидев просящие больные глаза, она ответила: «Да».

— Я давно вас заметил, сударыня. Я тоже русский... Уроженец Калужской губернии. Держу здесь свою парфюмерную фабрику.

Старик рассказал, что он — бывший инженер, эмигрировал из России в 1918 году, женился на дочери богатого француза-парфюмера и всю жизнь скучает по родине.

— Сударыня, я здесь одинок. Жена — француженка, дети — немцы, а я все равно русский. — И поспешил добавить: — В войну я был в концентрационном лагере.

С колокольни мягко ударил колокол. Его певучий звук приглушили лепестки яблонь.

— Умер Бунин, — нарушил молчание бывший калужец. — Еще один несчастный русский, занесенный в пустыню нелепым ураганом. Да. Была когда-то Россия, был уездный заснеженный городишко... Да,

нелепо, — произнес он еще раз, будто вслушиваясь в свою речь. — Я, сударыня, прожил долгую, утомительную жизнь, а как сейчас помню станцию, набитую народом, поезда с беженцами, выжидающих мужиков на телегах... Я тогда выменял хлеб на готовальню с золотой монограммой. Мужик бородатый, презрительный, из-под расстегнутой шубы торчит чужое пенсне... Помню, поезд уже тронулся, а у одного солдата в давке чайник упал на рельсу. Ему кричат брось, прыгай, а он ловчит руку сунуть меж колес за чайником. Выхватил все же, догнал вагон, запрыгнул, смеется: «Руку отрежет — полбеда, а беда без чайника».

Старик положил трость рядом, согревая слабым дыханием озябшие руки. Варя жалостливо оглядела его узкую спину, заостренную стариковскую угловатость под тонким сюртуком. Она уже хотела распрощаться, когда бывший калужец вдруг неловко схватил ее за руку и, часто моргая большими глазами, стал умолять:

— Сударыня, боже мой, как я вам завидую! Вы обязательно увидите Россию. Подождите минуточку, сударыня, я вас очень прошу. Я дам вам любой, самой лучшей парфюмерии...

— Этого не надо.

— Сударыня, я серьезно болен. Прошу вас, если только можно, привезите, сударыня, горсточку земли из России. Русской земли горсть!

Они распрощались. Но старик еще несколько раз выкрикнул вслед:

— Я буду приходить к этой скамеечке каждый день. Привезите!

Придя в часть, Варя спросила о «земле» своего начальника, и выслушав ее рассказ, он ответил: «Можно».

Землю она привезла. На границе эту горсть тщательно проверили, но все же отдали с понимающими улыбками.

Но старика она больше не встретила...

4

Домой Варя вернулась через шесть с лишним лет. По родному селу шла как иностранка: была на ней шляпка с белой вуалью, светлое пальто с широкими бортами, шею ласкали кружева белой кофточки; лицо молочное, забывшее ветровой деревенский загар. Маленькими белыми туфельками она неловко ступала меж засохших отпечатков копыт на обочине дороги.

Какая скудность вокруг! Маленькие избы с щербатыми венцами, жирная непросыхающая грязь, голодные поросята, обвалившаяся ограда церковная, поросшая русой полынью, заколоченный опальный храм над рекой.

Впереди громко переругивались на всю улицу икающий мужик в грязной фуфайке, в мятых штанах и его жена. В грязи под ногами валялась кепка, на которую он старался наступить сапогом, жена отпихивала мужа в сторону, норовя достать его зуб... Вдруг они заметили поправящуюся с ними Варю. Мужик проглотил бранное слово и развел руками, а его жена стыдливо поправила сбившийся платок, подняла кепку и проводила Варю долгим угрюмым взглядом.

Когда из-за ветвей огромных серебристых тополей, выросших вдоль болотистого пересыхающего ручейка, показался знакомый домик, сердце Вари сжалось: какой он стал маленький. Источенные дождем и солнцем серые доски крыши зазеленели островками мха, из трубы выкрошилось несколько кирпичей. В доме все тот же давнишний запах сухой глины, закоптелых чугунок и луковой шелухи.

Родные встретили (тоже слегка оторопев!) с почтением и деревенской хвастливой гордостью. Отец почти не изменился: сух, крепок, наголо брит — голова его с круглыми ушами имела сплошь ровный розовый цвет.

Мать раздобрела, но сохраняла еще былую стать, легкость походки.

В смоляных волосах ни единой седой нити, лишь на смуглом лице с осенним багряным румянцем пролегли крупные морщины. Приняв в подарок фарфоровую немецкую статуэтку, она, как прежде, сокрушенно запричитала возле книжно-посудного шкафа:

— Кузя! Опять ты брошюрами заставил полку! — делая нарочито пренебрежительное ударение на первый слог.

Но братовья в коротких штанах и рубахах с широкими рукавами, из которых торчали юношеские неуклюжие руки, с черными косыми чубами стали на полголовы выше сестры. Михаил, коренастый, плечистый, с близко сидящими глазами и крупным острым носом (в деревне его дразнили: «глаза через забор»), работал в ремонтных мастерских и готовился к армии. Младший, Степка, красавчик и любимец матери по прозвищу Жердя или Длинный, узкоплеч, с крупными кистями на тонких руках, учился в кручинском училище на каменщика...

С некоторых пор стали соседи жаловаться на разоренные погреба. Подозревали, что делал это кто-то свой, из баловства. На опушке леса, за деревней, стали обнаруживать пропавшие вещи: сломанный ржавый нож, которым была истыкана кора ближайшей сосны, старая овчинка, пустые банки. Степка от всего отнекивался, но за последнее время изменился: стал грубее, задиристее, научился сплевывать сквозь зубы, ходил нарочито сутулясь, враскачку, засунув по одному большому пальцу в карманы узких брюк.

Вечером, необычно рано, сели за праздничный ужин. С Вариных посылок, вещи из которых мать хорошо продавала на станции, жили Паневы по тогдашним временам в достатке. На столе появилась мутная бутылка со скрилучей деревянной пробкой. Варя попросила сварить картошки в «мундирах» и непременно в чугушке. В деревянной тарелке с зазубренными краями парили куски мяса — поросенок ногу сломал. Красными щеками лоснились помидоры.

— Варь, ты совсем из Германии вертанулась? — спросил Степан, следя глазами, как отец загорелой рукой с мелкими волосками на пальцах наливает в три граненых стопки.

— Совсем.

— Так и не привезла мне настоящую зажигалку!

— Зачем тебе? Или смолишь уже втихаря?

— Нет... Так, для форсу.

— А что, выведут наши войска из Германии? — начал отец, как обычно, наклонив голову и скребанув двумя согнутыми пальцами темя.

— Не знаю. Я человек не военный.

— Тебе-то на что? — напустилась на него мать.

— Вот! Уже рот затыкать.

— Сиди не лезь.

Варя положила себе кусок мяса в тарелку. В левую руку взяла вилку, в правую — непривычный кухонный нож.

— Как была ты темная, Мария Марковна, так и останешься.

— Ничего, больше тебя, светлого, понимаю!

— Понимает она! Ну что ты понимаешь? Что ты можешь понимать?! Вот у них там ватиканское выступление происходило, понятно! — Он посмотрел на жену так, будто она была организатором выступления. — А толком, что и как, — неизвестно!

Варя не потешила политического любопытства отца:

— Да. Было, семнадцатого июня. Я почему запомнила хорошо: в тот день у подруги день рождения. Только собрались вечером, вдруг — боевая тревога! Нам приказали никуда не выходить...

— То-то и оно!

— Полегчало, светлый?

— Ну, ладно. — Кузьма Семенович скрипнул пробкой.

— Варя, — Мишка протянул сестре сахарную кость. В дупле ее

маслянисто дрожал янтарный с зелеными прожилками мозг. — Варь, а немцы что едят?

— То же, что и мы. Только хлеба едят меньше и супов нет.

— Да уж куда меньше! — Мать осторожно придавливала крошки на столе и отправляла их в рот.

— И везде пьют кофе. Маленькими чашечками.

— Оно же горькое! — сморщился Мишка.

— Много ты его пил, барин?

— Бабка Гумелева варит его из овса.

— Эвакуированная семья, по фамилии Гумель, — уточнил отец.

— Он за ихней Анной ушивается!

— Если к ним в огород залезешь — ноги выдерну и наоборот всуну!

— Отвечаешь?! — Степка резко повернулся к брату, под тонкой рубахой на груди обозначились плотные квадратные плитки.

— Ну ладно, петухи!

— Семья работающая. Да бедные они уж больно, — продолжала мать, — семеро ребят: один от другова обноски ждет. А в огороде цветы сажают!

— И в рождество всей семье подарки! А я сколько прошу Марию Марковну купить мне новый муштук.

— Культурная нация, чистота и опрятность у них в крови.

— Культурная! — Отец глянул в окно, подняв указательный палец. — Когда до нас эта культура доползет? Живем, своей дури радуемся. Любимая потеха — смеяться над пьяницами! — Он быстро отдернул локоть, за который было взялась жена. — Вот у нас полгода смеялись. Один пьяный мужик, в соседнем селе, возвращаясь домой через кладбище, упал в чью-то оградку и заснул... Проснулся утром от озноба, слышит где-то неподалеку женские голоса: доярки шли на работу. Заорал: «Бабы! Это какая деревня?» Те со страху побросали ведра и убежали. Ну и что? Ему штраф за срыв утренней дойки. А нам смешно!

Братья молча переглядывались, подпирая набитыми щеками хитрые глаза.

В растворенное окошко влетал шелест и теплый дух нагретой за день листвы черемухи. На краю деревни таяло солнце, а над ним на горизонте набухала сине-лиловая кудлатая туча. Высоко в густеющем небе легкие облачка светились розовыми мазками. Вскоре они тихо растаяли. Кудлатая туча поднялась с насиженного места, обнажив светлую полоску неба цвета коры молодых тополей.

— А у нас страсть новая объявилась, — собирая тарелки, вспомнила мать. — Колонию на разъезде построили. Теперь и боишься ночами, кабы какой сиблонец не зарезал. Этот еще чертяка, — она хлопнула Степку ладонью по стриженному затылку, — привычку взял шастать допоздна. Соседи на погреба жалуются...

— Погреба шалашовники пусть берут. Я отвечаю!

— Уркаган! — передразнил Мишка. — Гвоздь без шляпы!

На минуту Варю покорила какая-то тюремная интонация в словах младшего брата, но Степка, крепко вытерев ладони о штаны, ловким щелчком убрал невидимую пылинку с ее рукава. Шоркнулся, как котенок, кудрявой головой о ее плечо, и дальше сердиться на него было просто невозможно.

5

Братовья ушли спать на сеновал. За столом, нацепив очки, шелестел газетой отец. В горнице, застилая постель темной цветастой простыней, мать пыталась ее намерения:

— В городе жить будешь? К нам-то, поди, ненадолго?

— Посмотрю. — Варя брезгливо почувствовала грубый запах мыла, исходившего от белья.

— Да что смотреть, экая ты птица стала — с чистым хвостом! А у нас туточки навоз.

Дочь не любила долгие разговоры с матерью, ее крестьянскую приглядку, будто она боялась в чем-то прогадать.

— Пока я в отпуске. Потом в город поеду. Там работу предложили в отделе юстиции.

— А жить где?

— Видно будет.

— Не молоденькая уже — по квартирам мотаться. Скоро тридцать!

Неприятно было это напоминание о возрасте. Она никак не хотела мириться с уходящей молодостью, да и мать произнесла эти слова с насмешкой: мол, дали девке неслыханную честь и тою не смогла воспользоваться.

Мать продолжала смотреть пристальным взглядом:

— Замуж-то почему до сих пор не вышла? Ведь писала, что много там молодых ребят! И сама такая гладкая — барыня барыней...

Варя решительно откинула угол одеяла:

— Ладно, мам, я устала с дороги. После...

Мария Марковна, обиженно поджав губы, вышла из комнаты.

Но уснуть Варя еще долго не могла, вслушиваясь в непривычные шорохи старой избы: через маленькие окна, пахнувшие пылью и теплой замазкой, доносилась брехня собак и сонная возня поросенка.

Вот и все! Пока мчалась в шикарном вагоне через всю страну среди веселых друзей, еще жила прежней жизнью. Теперь наступил момент, когда большая часть жизни вместе с молодостью закончилась, а новая еще не наступила. Перепутье...

Варя вспомнила кладбище в Потсдаме, прощальные цветы на могиле подруги, седину на висках у Захарова, его потерянный взгляд, последние свои слова: «Я не умею прощать...»

6

— Слышь, Длинный, скреби сюда! — На углу переулка, возле хлебозавода, Степку окликнули два дружка. Оба — старшекурсники строительного училища — славились отменным чутьем на чужие погребки и сараи.

Один, с сильно оттопыренной верхней губой, из-под которой торчали два передних желтых зуба, делая его схожим с грызуном, обхватил Панеева за бока, будто нащупывал слабые места, быстро заговорил:

— В магазин часы привезли. Ну тот, маленький, возле лесозавода...

— И что?

— Часики золотые, веселенькие, — охарактеризовал товар второй, тщедушный, с усиками, спускавшимися к уголкам рта слюнявыми хвостами.

— Возьмем часы, никто не узнает.

— Как возьмем? — Степка жадно вдохнул воздух с хлебным настроением, будто кто-то навалился ему на грудь.

— Ты на стреме постоишь, — давил Грызун. — Ночью дождемся, когда сторож пойдет к своей старухе за чайком, ломом скобу сорвем — там она плевать! Понял? Мы с ним все проверили...

— А если дознаются или шум какой выйдет?

— Че-о засопел там? — Грызун презрительно выставил два зуба. — Ты что думал, мы с тобой на погребках в ляльки играли?

— Дурак, у тебя же сестра в органах работает. Чуть чего — сестре часы подаришь.

— А сейчас пошли с нами. Посидишь до вечера.

Внутри у Степки все мелко тряслось, но он покорно побрел между ними. Теперь у него не получалось, как раньше, приблатненно ссутулиться и сплевывать через зубы. Он шел, втянув голову в плечи, пря-

мой и безвольный. Он еще представлял, что это лишь «заговорческая» игра, бахвальное щекотание нервов. Вокруг был такой тихий светлый день, навстречу шагали знакомые односельчане с добрыми озабоченными лицами.

Во дворе напротив безмятежно зевнула собака — на солнце блеснул слюной ее розовый язык. Степану захотелось сделаться вдруг маленьким, как эта собака, и убежать, спрятаться в конуру.

Проходя мимо колодца, приметил, будто впервые, как неуклюжие утки лезут поочередно в маленькую лужу около сруба и с наслаждением ловят гладкими головками капли, падающие из дырявого ведра.

У всех были такие обычные, нужные дела и заботы, лишь у него какая-то окаянная надобность в жутком, непонятном деле. Степан шел по улице и ему казалось, будто его черные мысли вылезли на лицо, как ржавчина от сырости.

Следователь с тонким красноватым следом вдоль лба от плотно одеваемой фуражки с некоторым сожалением захлопнул тощую папку «Дело».

— Взлом магазина, да еще с тяжким увечьем! Ваш брат, Варвара Владимировна, как я уже выяснил, стоял на карауле. Двоих, что ломали, тоже взяли. Но братец ваш все берет на себя!

— Как берет, почему?

— Должно быть, ему пригрозили. Он несовершеннолетний, надеется, что одному меньше срок будет. — Следователь, бывший Варин одноклассник, давно симпатизировавший ей, понимающе улыбнулся. — К тому же все знают, где работает его сестра.

Варя встала, нервно хрустя сплетенными пальцами, прошла по свежечернокрашенному полу маленького кабинета. За дверью всхлипывала Мария Марковна.

— Что он говорит?

— Твердит, что был один. И сторожа, мол, ударил он... Личное признание — серьезная вещь!

— Прошу вас, разрешите мне его увидеть. Я сама с ним поговорю...

— Конечно, конечно! Я сейчас распоряжусь привести его сюда, в мой кабинет. — Следователь собрал все бумаги в папку, взял ее, но, подумав, оставил лежать на столе. — Поговорите с братом наедине, убедите его не запирайтесь, иначе это кончится для него большим сроком. Я искренне вам сочувствую, Варвара Владимировна! Личное признание, знаете, серьезная вещь.

— Да, пожалуйста...

Бывший одноклассник Колька Рябов вышел. Варя вспомнила, как он после войны приходил свататься, в отчаянии просил мать повлиять на строптивую дочь. Теперь женат, официальное лицо, а она для него — работник управления юстиции.

Варя очнулась от мыслей, когда в коридоре раздался крик: «Сыночек, родненький, что ж ты делаешь? Мать гроишь!»

Дверь распахнулась, вошел — руки назад — потупившийся Степан, быстро зыркнул на сестру и опустил голову. За спиной следователя промелькнула мать.

— Степка! Подойди ближе, — сказала Варя, когда они остались вдвоем. — Садись. Ты что, рехнулся?!

Но уняв первую вспышку гнева, попыталась продолжить мягче:

— Как ты пошел на такое? У меня в голове не укладывается. Степа, ты хоть понимаешь, что ты наделал?!

— Угу, — качнулся черный чуб.

— Что, что ты понимаешь? Стоял на карауле? Господи! Да? — Говорить спокойно не получалось. — Ладно, я и так знаю. Ты пойми, дурак, что за твои признания тебе дадут на полную катушку...

Степан молчал.

Варя, протянув руку, ладонью подтолкнула вверх его подбородок:

— Посмотри на меня. Слышишь! Стыдно? Я с тобой маленьким водилась, задницу твою вытирала, а ты сейчас смотреть на меня не хочешь?

— Нет... нянька, — выдавил брат дрожащим голосом.

— Степа, я же тебе добра желаю. Не наговаривай на себя, и так посадят. Мать-то пожалей! Не бери, чего не было.

Брат, упорно вдавливаясь взглядом в блестящий пол, глухо произнес:

— Друзей не выдам.

— Какие они тебе друзья?

— Вместе спалились, вместе на нары пойдем! — Он вдруг осекся, но опять с гордо безнадежным лихачеством упрямо произнес: — Один был... «Пусть опять по этапу, застучат эшелоны...».

— Замолчи, сопляк!

Варя вспомнила слова участкового: «Влияние колонии». С тех пор как построили на разъезде колонию общего режима, начали просачиваться в село подобные «мотивы». Мальчишки-подростки стали проникаться романтично-запретным сочувствием к невольникам «зоны». Само это слово произносилось как символ чего-то лихого и страдальческого. Наиболее отчаянные, подобравшись близко к колонии, из-за стволов сосен подолгу взглядывались в «острожников», в их сизобритые головы, сутулые спины в черных фуфайках, ловя отрывистую речь. Этим мальчишкам отчаянно хотелось пробраться в загадочный мир «зоны». Они изобретали различные способы общения с осужденными, которых возили на строительство молочного комбината: ночью, когда стройку не охраняли, пробирались туда тайком и прятали меж кирпичей хлеб, ножики и записки-клятвы о преданных сердцах...

— Ну что с тобой делать? Господи... — Варя устало опустилась на стул рядом с братом. — Такой еще молоденький! Ты же ничего в жизни еще не видел. Сейчас сядешь — молодость ухнешь! Лучшие годы. И ради чего? Что они тебе — дороже отца с матерью?.. Степа, их вина доказана. Твое наговаривание для них ничего не изменит...

— Почему не изменит?

— Установлено, что ударил не ты. А твои показания только растягивают следствие.

— Так что, я должен их продать? — В голосе не было прежнего гонора.

— Нет, Степушка, ты скажи только правду: стоял на карауле, а кто бил сторожа — не видел. Может, не они и били — что ты уперся? Не видел — никто тебя принуждать не будет.

Долго еще уговаривала, грозила, просила сестра. Степан со всем согласился... Но на суде вновь все взял на себя, путал судью, менял показания.

Осудили его, учитывая косвенное участие в грабеже и несовершеннолетие, на девять лет. После оглашения приговора, услышав непомерную цифру, мать упала в обморок. Первый раз в жизни. Отец беспомощно озирался по сторонам, неловко усаживал обмягшую жену на стул. Сестра крикнула Степану: «Трус несчастный! — А когда он обернулся, бледнее лицом меж зеленых спин конвоя, добавила: — Видеть тебя не хочу!»

Затих родительский дом: Варя жила в городе, Михаил ушел в армию. Мать по ночам плакала о горемыке-сыне. Отец заметно постарел, сгорбился, запустил седой венчик волос. Чувствуя горе хозяев, палева дворняга Пихта, любимица Степана, полгода тихо скулила возле калитки, всматриваясь старческими глазами в поворот дороги за крайним домом улицы, потом заболела, три дня безвылазно пролежала в конуре и сдохла.

В редкие приезды дочери в Кручинное мать давала ей читать мятые письма Степана, которые всегда носила в кармане застиранного передника: «Здесь, куда я попал, вокруг только болота, лес да небо...»

Горе сблизило властную мать и непокорную дочь.

В долгие тоскливые вечера мать просила:

— Может, как-то пооблегчить... Ты же вон где работаешь. Хоть бы его в нашу колонию перевели, все ж рядом был бы. Ящеркой к нему приползла бы. Кровинушка моя горькая!

Отец старался крепиться:

— Пишет, что на его лесоповале за один год — три идет! Так что через три годика, мол, выйду...

После молчаливого ужина он вставал, опираясь сжатым сизым кулаком о стол так, что белели костяшки, и шел на двор, шаркая старыми валенками. За бортами расхлябанных калош торчали мелкие соломинки и щепки.

— Господи, чем же я тебя прогневала? — Как человек, постоянно носящий в себе большое горе, мать теперь часто говорила сама с собой. — Застудится там, в болотах, аль еще... не приведи, господи! Сказывают, что на болотах, если поранишься, то ранка будто бы не заживает, а гниеть и гниеть...

7

Прошел год, прежде чем Варя добилась от управления юстиции разрешения инспектировать лагерь, в котором находился Степан: по разбору жалоб.

Поздно ночью прибыла она на станцию Алымкан: несколько домов и несколько звезд над ними в темно-синем небе.

Ночевать пришлось в деревянном вокзальчике, освещенном единственной, облепленной мошкой, лампочкой. На лавках и на полу, укрыв лица воротом шинели, спали вповал солдаты-отпускники. В углу, возле черного окна, чутко дремали два парня в серых, глубоко натянутых кепках козырьком назад. Один из них, чуть повернув на загорелой шее голову, измерил Варю сощуренными глазами. Пожевал порожним ртом и опять уткнулся лбом в сцепленные руки.

Женщина устроилась на свободную скамейку и закрыла глаза. Но крепкий храп, сонное вздрагивание и бормотание, удушливые запахи кирзовых сапог, мужского пота и болотной травы вместе с тревожными мыслями не давали ей уснуть. Что будет дальше? Где в этой непроглядной тайге прячется братьев лагерь? А вдруг ее не пустят, скажут карантин или кто-нибудь сбежал... Какая вокруг тишина! Хоть бы поезд прошел или собака залаяла...

В окне посерело. Лампочка стала еще бледнее. Вскоре от темноты начали отделяться ветви пихт, стена станционного сарая, кусок рельса. «Нет, только ты можешь ввязаться в такую авантюру, — вспомнила она слова одного капитана из управления, который с недавних пор начал считать себя ее женихом. — Что за дикое безрассудство? Там случаются побеги... Мужчины, по несколько лет не видевшие женщины!» — «Может, поедете со мной сопровождающим?» — смеялась она тогда.

Теперь было не смешно. Но с уходящей ночью уходил и острый страх.

Где-то вдалеке пропел, будто из погреба, петух. «Теперь уж будь что будет!» — Варя решительно встала со скамьи, поправила волосы, мягкую шляпу и вышла из вокзальчика.

Утренний воздух остро пах мокрой хвоей и мазутными шпалами. Первые лучи июньского солнца выхватили в темной тайге крутой склон распадка, отчего вдали пихты стали голубыми.

За станцией открылась широкая дорога, укатанная тяжелыми машинами. Вдоль дороги крепкие дома с золочеными от зари окнами и

большими заборами. К удивлению Вари, поселок оказался больше, чем она представляла, и жизнь в нем уже кипела: тяжело скрипели ведра с водой, мычали в утренней прохладе коровы с колокольчиками на шее, сонно переговаривались люди.

Из одной калитки выплыла толстая баба с куском присохшего пирога на тарелке. За ней увязался, прошмыгнувший меж ног, голодный песик. Он звонко и просяще лаял, подтягивал живот до самого хребта.

— Цыть ты, тварь паршивая! — кричала баба на всю улицу. — Иди домой! Иди, говорю, а то корейцам отдам!..

Нужное Вале заведение знали все, быстро показали дорогу к деревянному двухэтажному корпусу. По крашеной скрипучей лестнице — первый марш крутой, как пирамида, второй, наоборот, пологий — она поднялась в кабинет начальника Алымканского отделения.

Пожилой майор, тревожа ладонью жидкую прядь на голове, внимательно читал Варины документы. Он сильно наклонил голову, и Варя вынуждена была взглядом наткнуться на его розовое темя, шелушистое, как «цыпки» на руках ребенка. Изучив все обстоятельно, майор с нескрываемым удивлением уставился на необычного инспектора: молодая женщина в сером макинтоше и шляпке! Собирается ехать в такую глушь?

— Да, уважаемая Варвара Владимировна, жалобы действительно есть... Но зачем же туда ехать?

— Вы мне задаете такие вопросы?

— Вы просто не представляете себе путь, который вам предстоит.

— Я уже инспектировала лагеря с подобными жалобами, — солгала Варя.

— И этому я удивляюсь: вы — такая красивая женщина — и вдруг поедете в лес за десятки верст!

— Но будет же охрана.

— Конечно... Но можно и здесь решить все вопросы. Этот лагерь третий, самый дальний на ветке. До него только ехать два дня. И зачем?! — Майор опять потревожил сквозистую прядь. — Тамшний начальник — Клык — старый служака, год до выслуги... Я неоднократно делал ему внушения. Взыскания накладывал. В жалобах на него пишут, что использует осужденных для работ на своем хозяйстве. Да, я проверял — наказывал. Но он же и продает им молоко! Хотя этого тоже не положено делать... Вы понимаете...

Майор вытянул и сжал в булаву крепкие толстые руки:

— Как видите, я с вами откровенен. Если у вас есть какие-то новые факты... Более серьезные...

— Нет. Все как будто похоже на ваши слова. — И для убедительности щелкнула замочком сумки.

Майор вновь уткнулся в бумаги: «Что-то здесь не то. Или она имеет другие обвинения, которые рикошетом попадут и в меня, или тут какое-то личное дело. Странная бабочка!»

Наконец, оторвавшись от бумаг, он пожал плечами:

— Понимаете, не каждый сможет там работать. Тем более много лет, как Клык. И дело знает, и исполнительный...

— Вот и хорошо, на месте посмотрим.

— Еще раз вам скажу, по-отечески: это опасно! Что смотреть? Трястись два дня на телеге. Вам?!

— Я не могу вас понять...

— И еще одно обстоятельство: вы спрашивали об охране — у меня ее нет!

— Как — нет?!

— Нет в наличии ни одного лишнего солдата. У нас здесь нет отдельного гарнизона. Они только в колониях.

Варя, предчувствуя что-то страшное, испуганно расширила глаза:

— Что же вы мне предложите? А как прежде инспектора добирались? Сами? На чем?

— Ну зачем горячиться? На лошади, с почтой.

— А на машине какой-нибудь нельзя отправить?

Майор скользнул поверх ее головы потускневшими глазами и решил про себя окончательно: по личному...

— На какой-нибудь не имею права. А наша машина сейчас в ремонте.

— Надолго?

— Ну, с неделю...

— Хорошо. Отправьте меня с почтой.

— На телеге?

— Да, на телеге.

— Только учтите: почту у нас возят расконвоированные...

8

Через два часа Варя в шляпе-накомарнике и два расконвоированных в куцах фуфайках катили на телеге с резными крашеными обводами — работа «здешних» умельцев. Везла их, бесконечно помахивая хвостом, мохнатая лошаденка с пиковым тузом — тавром на крупе. От лошади исходил густой теплый запах конской шерсти и пота. С обеих сторон, чуть ниже брюха, отплясывали в такт хода нарядные кисти сбруи.

Варя сидела между мешков с почтой, облокотясь на обводину, укрыв поджатые ноги брезентом, и сквозь сетку накомарника тревожно разглядывала сопровождающих.

Один совсем молодой, в драной телогрейке — на месте оторванного ворота торчали куски грязной ваты, — с острым кадыком и ушами, очень напоминающими вопросительный знак. Другой — мужчина лет тридцати, с умными серыми глазами, ямочкой посреди крепкого подбородка. Когда он поправлял шапку, Варя отметила высокий лоб и наполовину облысевшую голову. Оба сидели впереди, на облучке, молчали, но временами оборачивались и с любопытством оглядывали даму в сером макинтоше.

Вокруг, нехотя расступаясь, стояла тревожная непроглядная тайга. Буро-желтыми волнами змеилась впереди полузаброшенная узкая дорога. Еще более узкой была лента голубого неба вверху, зазубренного высоченными елями.

Солнечные косые лучи крались меж могучих темных стволов, напоминая гигантские прямые секиры. Втянув голову в плечи, как утка на воде, Варя не замечала пения птиц, веселого шороха проснувшегося леса. Ей слышались бесконечное бряцанье сбруи да загадочные полувздохи сопровождающих.

Немного развлекли ее небольшие, заляпанные солнцем полянки. Но и они попадались не часто.

На развилках Варя с мучительным беспокойством вглядывалась в расплзающиеся дороги, сравнивая, какая больше наезжена. Вдруг они с умыслом поехали по другой, неправильной...

— Ну-о, пшла, селезенка драная! — Громко выразил накопившееся молодой. — Первый раз вижу такого инспектора! Слышь, инженер, ну и почту мы везем. Посылка целая!

«Инженер» молчал, не спуская с губ улыбку, какая бывает по ту сторону неразрешенной мысли. Варя чувствовала это, и чтобы отвести разговор от себя, твердо спросила повернувшегося к ней парня:

— У вас скоро срок заканчивается?

— Два месяца отхрепнить осталось.

— А сколько всего?

— Четыре года рубил. Ну-о! Мне лесоповал — в кишках уже сидит.

— На лесоповале срок быстрее идет?

Парень ширкнул смешком сквозь редкие зубы:

— Иной день за год покажется!

— Но если норму выполнять...

— Если норму выполнять и нарушений нет — за один рабочий день три ставят.

— А родом вы откуда?

— С Урала.

— Родители там же?

Парень передал вожжи напарнику и начал свою историю привычно равнодушным тоном:

— Мать еще до войны посадили: зерно припрятала. Отец, инвалид белофинской, перековылял через улку к другой бабе. А мы с братухой развели житуху! Жрать было нечего. Голодовали... Зимой замело хату — по саму крышу. Младший братан вылезал через трубу и бежал побираться.

— Неужели вас все бросили, позабыли?

— Да нет. — Парень повернулся к лошади и лупанул ее кнутом. — Приходила тетка, кормила нас.

— И дров не было?

— В сильные холода мы ляжем на печку, а тетка нас золой посыпала, чтобы ночью не замерзнуть...

От этих слов Варя почувствовала слезы в глазах и пригнула голову. За телегой серым нудящим облаком летела мошка.

— А почему вы не замужем? — Неожиданно прозвучал другой голос. И пока она медленно поворачивалась, обдумывая, что сказать, услышала и ответ: — Замужнюю бы муж сюда не пустил...

Варя хотела сказать: «Что ж здесь, звери живут?», но передумала.

— Приезжают же к вам жены на свидания? Так же добираются.

— Тех нужда гонит, да и то не всех...

— Третьего дня одна приехала покричать над своим безголовым.

— Как покричать? — Варя скользнула ладонью по сетке накомарника.

— Похоронить разрешили жене с матерью за его хорошее поведение... Завтра мы с ними встретимся.

— Ну-о, стерва! Почуяла ворота. — Парень, повернув морду лошади, направил ее дальше в лес. С левой стороны от дороги проезжали небольшой поселок, на задах которого возвышалась дощатая стена с вышками.

— А что с ним случилось?

— Как в покойники вышел? Хлебало разявил — не в цирке! — Парень хохотнул своей шутке. — Пихту валили, а комель подскочил и с маху челюсть ему снес. Кровяной феер! Всех забрызгал.

Неожиданно навстречу попался небольшой отряд: шестеро осужденных, в черных хэбэ, с лопатами на плечах и два солдата с карабинами. Остановившись без команды, все они с одинаковой жадностью уставились на проезжавшую в телеге красивую девушку.

— Варвара Владимировна! — послышалось из колонны. — Разрешите задать вопрос?

Это поразило Варю так, что она онемела на несколько минут, тупо разглядывая угрюмо стоящих на обочине осужденных. Потом оглянулась на своих сопровождающих. Те нехотя остановили лошадь. К телеге приблизился, поигрывая лопатой, как тростью, холеный красавец с пикирующим взглядом:

— Варвара Владимировна, скажите: почему Маяковский застрелился?

Варя не знала почему и, стараясь побороть дрожь в голосе, сказала:

— На обратном пути я буду разбирать жалобы в вашем лагере, если у вас есть что сказать, приходите на прием.

Красавец понимающе улынулся.

Некоторое время ехали молча. Мелко тряслась деревянным телом телега. От копыт, прикрытых свисающей мокрой шерстью, летели жирные шматки грязи.

— Што, удивились? — с гордостью заметил парень. — Счас все колонии зудят! Страшно, а?

Варя промолчала. Лицо ее покрылось испариной от страха и стесненного дыхания под плотной сеткой накомарника.

— Зря едете. Клыкова вам не колупнуть. Не такие приезжали...

— У вас жалоб нет?

— Нет, чего впустую туманить.

— А сюда за что попали?

— В фазанке один дружок научил промыслу: у меня пальцы тонкие, учителька говорила, из меня пианист хороший выйдет, а вышел карманник. Однажды в трамвае вертанул шмеля, а какой-то глазастый поднял крик, кинулся за мной. Я в подворотню — он следом, тут его напарник и захрепонил по затылку.

Варя поежилась от таких грубо спокойных слов.

— Проблемами перевоспитания преступников интересуетесь? Или просто молчать страшно?

— Да что уж теперь! — призналась Варя.

— Смелая вы! Теперь меня спросите: за что я здесь?

— Думаю, на работе что-нибудь случилось. Вы же инженер?

— Был полгода...

— А потом?

— После института на стройке работал. Жил с молодой женой в старой халупе, в которой всю жизнь с мамой прожили. Жена принялась охаживать: давай пристроим комнатку и вход отдельный. Доски я украл на стройке... и пристроили меня на восемь лет. — Он замолчал, натягивая на высокий лоб маломерную шапку, затем вновь продолжил: — Я так думаю: преступник — это, как правило, талантливая энергия, вылившаяся бездарно. Или лучше сказать: если человек расходует свой талант бездарно, в смысле нравственности, то придет к преступлению...

Верным инстинктом женщины Варя чувствовала, что этот человек, жадно и скрытно вдыхающий запах, исходящий от ее духов, ей не опасен.

— Но есть же такие, что попали просто по глупости.

— Есть, в нашей оранжерее всякие есть.

— Им, должно быть, особенно тяжело?

— Тяжело! Да, не все цветут, слабые характеры здесь стригут, как газоны.

Варя подумала о Степке: «Петушок тонконогий, какой-то ты стал за этот год?»

— Тяжелая здесь работа?

— Как везде. Также план дается, соревнования между бригадами.

— Наша бригада всегда на доске была: у всех по три пилы от движка хрипонят, а инженер сделал четыре!

— Тяжело, знаете, смотреть, как звезды путаются в колючую проволоку. Да бесконечные дни считать. — Инженер повернулся к Варе и, вглядываясь серыми, насмешливыми глазами в ее лицо, добавил: — Знаете, как здесь расстаются с молодостью: ловят перелетных птиц и надевают им на ногу кольцо со своим именем!..

Тайга начала темнеть, засасывая в себя солнечные следы, тускло блестели слюдяные болотца. Мокрые, черной полировки пни в сумерках задвигали щупальцами-корневищами.

Лошадь уже устала, тяжело водила боками. Ремешки сбруи намокли от пены.

— Зачем вы ее так хлещете?! Ей же тяжело!

— Тяжело! Это самая хитрая тварь, какую я видел. Ну-о! Она меня однажды зимой пять верст бежать заставила. — Парень поерзал худым задом по сиденью. — Мороз был с ветром. Промерз. Дай, думаю, вылезу из саней и пробегусь немного, согреюсь. Вожжи, дурак, бросил! А лошадка учуяла это — жаркнула вперед. Я за ней! А она близко не подпускает: держит, стерва, дистанцию, будто у нее глаза взаде... Решил я тогда схитрить: плетусь еле-как, коняга тоже сбросила обороты, по-сматривает. Только я метнулся — она в мах от меня! Так и бежал пять верст. Распалился: кляча облезлая, обломаю я те хребтину оглоблей. Глаза копытами закроешь! А она завидела поселок и совсем убежала. Приплелся я, гляжу: во дворе стоит привязанная, ушами прядет. «Ох, думаю, счас!» А она вся мокрая и трясется на ветру. Жалко стало, и вся злость прошла. Подошел и накинул на спину рогожу...

Был уже вечер, когда они подъехали ко второму лагерю. Дорога сделала подъем, и открылся поселок.

Варю встретил возле своего дома начальник лагеря, худой сутулый лейтенант в наспех отглаженном мундире — на галифе было заметно несколько рваных стрелок.

После обильного ужина, за которым жена начальника в переднике из солдатского сукна все предлагала парного «молочку», Варя, сославшись на усталость, быстро легла спать в отведенной для гостей комнате. Но заснуть долго не давали стук телеги в ушах и клопы.

Проснувшись она, когда солнце позолотило край темного стожка под окном. Почтовая телега уже ждала. Быстро умывшись и выпив полчашки чая, пахнущего глиной, вышла на крыльцо. Сопровождающие поправляли подругу. Поздоровавшись, спросила:

— Сегодня к обеду уже на месте будем?

— Как получится, — отозвался инженер. — Варвара Владимировна, вам не стоит дальше ехать...

— А что случилось?

— Вас проиграли...

Варя вздрогнула от хрустнувшей под ногами ветки и, чувствуя приближение какой-то страшной, неотвратимой вести, оперлась на обводы телеги.

— Как проиграли? Кто проиграл?..

Оба сопровождающих теперь виновато-растерянно отворачивали взгляды:

— Вам не надо дальше ехать. Возвращайтесь обратно. Вас доставят... Напишите отчет, никто вас не осудит. Вы же женщина!

Из переулка, ведущего к лагерю, вынырнул сутулый лейтенант. Подошел к растерянному инспектору.

— А я думал, вы уже в пути. Что-нибудь стряслось?

Инженер исподлобья глянул на Варю и сказал:

— Варвара Владимировна хочет вернуться в Алымкан. Плохо себя чувствует.

— Да? — переспросил лейтенант, хотя совсем не удивился. — А утром вы ничего не сказали. Надо подумать, с кем вас отправить обратно.

— Не надо! Я поеду дальше.

9

Остро дохнуло гарью и еще каким-то гниющим запахом. В утреннем зеленоватом тумане метались, сталкиваясь, встревоженные вороны, как языки черного пламени.

Горелый лес. По обе стороны телеги торчали обуглившиеся стволы с огрызками ветвей, вывороченные корневища.

— Дался вам этот лагерь! Вы врубитеесь — это не шутки!

— Тихо захрепоят, и все.

— Что вы молчите? — Варю дернули за рукав. — Я не хочу за вас отвечать! Я свое от звонка отдубасил. Хватит! А за вас знаете сколько дадут?! И ничего мы не сделаем...

— Што закусила-то?..

— Стой! — Инженер вырвал вожжи и остановил лошадь. — Послушай, мне просто жаль тебя, молодую, красивую. Я бы на такой женился не задумываясь. Только они сделают так, что мы не поможем... И даже не в сроке дело: если что случится — всю жизнь на душе висеть будешь!

На дороге послышался хлебающий шум мотора. Из-за стволов показалась бортовая машина. В кабине рядом с водителем сидела старушка в черном платке, в кузове стоял гроб, на повороте он скрипел по деревянному днищу, подле сидели два солдата, несколько черных хэбэ и женщина.

Пока грузовик объезжал телегу, Варя разглядела лицо женщины: тихое, склоненное набок, со взглядом в себя, как на иконе «Троица».

После машины осталась гробовая тишина. Каждый из троих сидящих в телеге мысленно проводил удаляющийся грузовик. Каждый в нем увидел свою правду.

Нужно было что-то решать — в упор на нее смотрели две пары злых глаз. И Варя с отчаянной надеждой постучалась в серые глаза:

— У меня в вашей колонии брат...

Тайга, все время давившая на узкую дорогу, расступилась и открыла большую просеку, заваленную кучами бревен, ломаными ветвями и корой. Полуденное солнце сверкало в янтарных наплывах на свежесрубленных местах. Крепко пахло горячей смолой.

За просекой поселок. Влево — знакомая уже дощатая стена с колючей проволокой и смотровыми вышками.

Телега остановилась возле большого дома, на наличниках которого были вырезаны крутобедрые грудастые русалки.

Начальник лагеря, старший лейтенант, кривоногий, в рыжих сапогах, с крупным мясистым носом, без спешки провел инспектора в дом.

— А мы уж и не знали: ждать вас или нет! — Клыков «пробовал на зуб» инспектора, осматривая исподлобья, маскируя глаза в кустистых бровях. — Тут о вас весь лагерь гудит! Едет барышня красивая, модная... Вы меня извините, дурака старого. Тут с такой жизнью совсем одичаешь. Я почему говорю: к нам ведь немногие охотники ездить! К слову, охота-то у нас богатая! Да. Но вам-то это ни к чему... Женщины у нас — прямо-таки диковина!

Варя вздрогнула от этого напоминания.

— Я с вами буду говорить начистоту: у меня брат находится в вашей колонии.

Клыков высветил острые зрачки в холодном ободке глаз, тверже уселся на стуле.

— Понимаю, понимаю... Я на своей-то службе за столько лет ко всякому привык. Да... Грешным делом все гадал: кто-ж ко мне едет?! Что за надобность? Понимаю... Я сейчас прикажу его привести.

— Подождите. — Варя строго придерживалась полученных в дороге советов. — Сначала поговорим о деле. Мне известны нарушения режима, на которые вы смотрите не только сквозь пальцы, но и сами используете осужденных на своем личном хозяйстве...

Клыков выжидал.

— Вы напишете характеристику и подадите документы в Алымкан.

— Это сложно... Пересматривает дело выездной суд. — Клыков повернулся к окну и долго смотрел, как рыжий теленок трется шеей о болтающуюся ставню. — Не знаю, не знаю... Устроить свиданье с братом могу. А так — опасно. И у начальства я вроде ба не в милости. Жалобы вот все пишу...

Он встал, вытащил из нагрудного кармана изящную расческу, показал Варю:

— Не желаете иметь деревянную расческу, у меня один китаец изготавливает — уникальная работа! Говорят, очень полезно для волос... Не хотите? Ну, как прикажете...

Клыков подошел к окну. Распахнул створки, вывалился на полкорпуса: «Гыть отседа, лопухий!» Потом крикнул за угол:

— Павлов! Запрягай тарантас! — И, уже обращаясь к Варю: — Нужно ехать на лесосеку. Там вырубщики куда-то в болото ушли, так что на лошади не подобраться. А к вам я своего замполита пришлю...

«Быстро ты нос своротил!» — Варя, шелкнув замочком, приоткрыла сумку:

— А жалоб на вас совсем немного, старший лейтенант! Я говорю: пишут-то, наверное, те, кто самого не пьет!..

Клыков напряженно уставился на инспектора, как смотрят глухонемые: пытаюсь по губам разгадать смысл сказанного.

— За продажу такого «молочка» вам придется и на пенсии работать. Лопатой. А сейчас прикажите привести сюда Панеева Степана Кузьмича, 37 года рождения.

В глазах Клыкова ожили огоньки. Пытаясь на ходу расстегнуть верхнюю пуговицу гимнастерки, он ринулся к двери:

— Сейчас, конечно! Обязательно. Мне до пенсии-то годик дотянуть... Сами понимаете, работа сволочная...

Стало тихо. В комнате мягко стучали стоящие на комодe часы.

Варя почувствовала, что если сейчас Клыков вернется один, придумает новые отговорки, проволочки или попросит доказательства, она не выдержит и расплачется. Сказывалось напряжение трех дней: кружилась голова, затылок отяжелел так, будто на голову надели свинцовую шляпу.

Возле дома слышались шаги.

— Стойте здесь, — услышала она голос начальника лагеря. «Под конвоем привели».

На пороге показалась долговязая темная фигура: худые жилистые руки мяли суконную шапку, исподлобья — горящий взгляд. Он лишь мгновение всматривался в поднимающуюся навстречу женщину и вдруг закричал: «Нянька, нянька!!»

Степан опрокинулся на колени и замычал сестре в подол: «Ня-нянька!» Так в детстве он с братом называл Варю, потому что она одна целыми днями водилась с ними.

— Степа, худой-то какой, — шептала сестра, глотая слезы, осторожно касаясь стриженной головы с красными шишками, черных облезших от загара ушей и шеи. «Нянька, нянька», — неистово повторял брат, стараясь сухими побелевшими губами убрать с сестриных ладоней свои слезы. Ему казалось, что его теперешние слезы поганят руки, которые вытирали его детские слезы... А в душе Вари, затянутой страхом, как вода тиной, впервые за эти дни блеснул просвет.

Клыков разрешил Степану без конвоя гулять с сестрой за территорией лагеря. Он был предупредителен и старался реже встречаться. Его жена, толстая и неопрятная, ходила после ужина по дому в ночной рубахе, била мух и громко икала.

Осужденные, узнав, что приезжая инспекторша сестра их собрата, при встрече снимали шапки и провожали ее восхищенными взглядами. Зловещий «проигрыш» оказался несостоятельным — ставили не на ту «карту».

И все-таки даже в сопровождении охраны и кривоногого начальника лагеря со страхом входила Варя через зигзагообразный узкий коридор с тремя дверьми проверять санитарное состояние.

Трехметровая стена из толстых досок, за ней разрыхленная граблями коричневая земля, далее металлическая сетка. Большие бараки,

в них — железные койки в два яруса. Зимой такой барак протапливали целый день двое дежурных.

Перед бараками плац, отшлифованный до чугунного блеска.

Мимо прошел строем отряд осужденных. Варя вглядывалась в стриженные головы, и без шапок все они казались ей на одно лицо... В коммерческой столовой продавец-еврей, поглаживая черный ежик, разложил перед инспектором все, что могут купить осужденные на свои деньги: конфеты, пряники, дешевые папиросы...

На задах лагеря стояла конюшня, в воротах возились крикливые цыгане. При виде Вари они засверкали молочными белками и зубами. Рядом с конюшной столярный цех, в котором цыгане и расконвоированные, сидя на чурбаках, строгали дранку.

Когда она задала вопрос: «Нет ли жалоб?», то увидела идущего к ней инженера. Он был без шапки, на крупном лбу золотились прилипшие опилки.

— Жалоб нет. Есть пожелание.

— Какое?

— Чтобы все жены и сестры были такие, как вы!..

10

Осенью, когда в тайге начался обычный раздор — желтые клинья дерзко разрушали зеленые бастионы, — Степан Панеев в сопровождении конвойного был отправлен в Алымкан — на досрочное освобождение.

Расписная телега, служившая для любой оказии, брэнчала по твердой дороге. Стояли последние сухие дни. Солдат, положив карабин под ноги, нещадно гнал лошаденку — в поселке у него была зазноба, а Степан, одуревший от радости, орал и пел на весь лес:

Ранней осенней порой,
Падая, листья шуршали,
Прибыл я в город родной,
Где долго меня ожидали.

— Зёма, гони, а то сердце захлебнется!

И, покидая вагон,
Ты не ждала меня, мама,
Я сам могу тихо войти,
Не скрипнув калиткою сада!

Быстро навалились сумерки. Над узкой просекой дороги меж темных лап заблестели звезды. Свободные звезды! С таинственным шорохом крыльев устремилась в родную чащу ночная птица. Степан орал напропалую:

Сын, мо-ой родной, —
Мать вся в слезах прошептала, —
Ты возвратился домой,
И жизнь моя радостней стала!..

В Алымкан приехали поздно: собаки уже не лаяли. Солдат сунул Степану документы, хлопнул по плечу:

— Ты, парень, спи здесь, в телеге. Никуда не пропадай — тебя скоро освободят.

И, убрав на животе складки гимнастерки, нырнул в темноту.

Через три недели был суд и освобождение.

Степан получил справку, купил серый шевиотовый костюм и кепку единственного фасона, которыми бойко торговал местный магазин.

Домой добирался на всех попутных поездах и товарняках, стуча от холода и нетерпения зубами.

За один перегон до Кручинного, когда он чуть не выдавил горя-

щим лбом стекло, рваная луна, скользившая за поездом по мокрой дороге, вдруг остановилась. Слышно стало, как ее осколки полоскал в луже ветер.

Степан спрыгнул на гравийный откос. Не чувствуя под собой ног, рванул по дороге к селу. Задыхаясь, он приостанавливался, срывал что-нибудь попадающее под руку — сухой березовый лист или хрустящий пучок белоголовника, — растирал горячими ладонями и жадно вдыхал, будто еще не веря, пытаясь по запахам определить: та ли это дорога, те ли родные места.

Сердце гнало, как ломовой извозчик.

Лес с левой стороны дороги отступил, и в серой дымке открылось серебристое болото с черными кочками. Как родного человека узнал Степан сухую пригнутую березу на берегу, похожую на скорбную старуху. Из детства вспомнилось старое поверье, будто в березу превратилась старушка-мать, у которой утонул здесь сын.

Родным Степану показался и лай кручинских собак, и клочки тумана, оседающего в черных ветках ив, и млечный остов печального храма, скорбно смотрящего темными глазницами: то ли в мрачное небо, то ли на заблудших, жестоких людей.

Во дворе молодым, незнакомым гыркком залаяла собака. Звякнула свободно цепь. Степан через огород пробрался к дальнему окну. Хотел постучать тихо, но трясущаяся рука громко вызвонила упругое стекло.

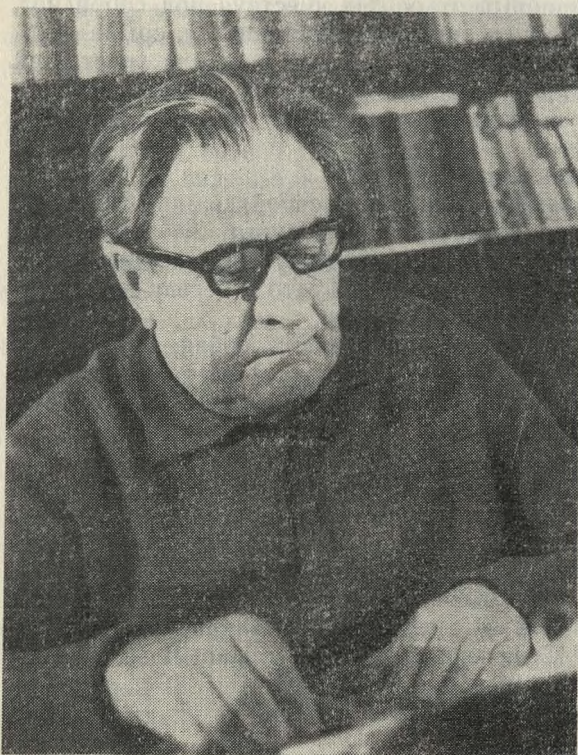
— Кто здесь?

— Маманя! Это я, Степан...

За окном что-то грохнулось, звякнуло. Зажегся свет... Отворилась дверь, и мать в белой рубахе, комкая ее на груди, закричала:

— Кузя! Отгони собаку! Сыночек!! Ой, что-то тяжко мне...

К 70-летию
со дня рождения Н. Г. Дворцова



Всякий писатель по сути своей в большей или меньшей степени философ. Его не могут не волновать вечные темы добра и зла, ответственности и одиночества, взаимопонимания и воспитания, наконец темы жизни и смерти.

Николай Дворцов мечтал создать произведение (роман или большую повесть) о «жизни наших отцов» и несколько раз подступал к этой теме: в 70-х годах и уже десятилетие спустя, в 80-е годы. Незаконченными остались и первый, и второй варианты.

Долго не могло отстояться окончательное название произведения. По рукописям прослеживается, какие возникали варианты: «Наши корни», «Перепутье», «Жизнь отцов», «Верблюд в чигире». Отец склонялся к последнему названию. Не решено было окончательно, в рамки какого литературного жанра уместится повествование: крупной повести или выльется в роман. В одном случае его рукой написано «повесть», в другом — «роман».

В первом варианте очерчен круг действующих лиц — их 29.

Произведению были предпосланы такие строки: «Роман написан от первого лица по впечатлениям детства и юности автора и охватывает в основном тот период сельской жизни, когда веяние нового, принесенного Советской властью, только еще проявлялось и набирало силу, а старое имело многовековые традиции, вошло в плоть и кровь хлебороба. Однако роман отнюдь не является биографией автора и его семьи. Как во всяком художественном произведении, образы обобщены, типизированы».

Во втором варианте возникает композиционно новый подход к теме. Сцены современной жизни перемежаются с воспоминаниями детских и отроческих лет. Многие герои, выведенные в сценах современной жизни, мне знакомы, с ними приходилось неоднократно общаться, в романе они получают второе дыхание.

Родилось и другое название: «Река времен». Позже оно перешло к сборнику, вышедшему в 1977 г. к 60-летию писателя.

Т. ДВОРЦОВА-ГУЩИНА

Николай ДВОРЦОВ

РЕКА ВРЕМЕН

Опять должны мы начать.
Кончить ничто мы
не можем.
Н. Рерих

На письма брат был не охотник — обычно отделялся цветными открытками, в которых поспешным неразборчивым почерком, почти игнорируя знаки препинания, поздравлял то с Новым годом или Восьмым марта, то с Первомаем, а иногда и с днем рождения кого-нибудь из нас. Непременно, как и положено, желал крепкого здоровья и счастья.

Однажды осенней слякотной порою брат заявился сам. Оказалось, что завернул с Черноморского побережья — лечился и отдыхал там в санатории.

Приехал в шестом часу утра и зазвонил так, как нормальные люди вообще не звонят, тем более в такую рань. Прямо по-бешеному зазвонил.

Я, спросонья воображая черт знает что, никак не мог совладать с привычным замком. А как открыл, брат облапил, сдавил по-медвежьи — не вздохнуть.

— Дрыхните, подлецы! Совесь-то совсем потеряли!

Поздоровался с моей женой и припнулся тискать в постели племянниц. Те пищали, вьянкали под одеялами:

— Дядь Вась... Ну...

— Бить, бить подлецов! Бить!

Выяснилось, что бить всех нас надо по причине письменного молчания.

— У тебя с детства осталась привычка сваливать свою вину на других, — заметил я, стараясь быть серьезным. — Сам сахар из «шкапчика» таскал, а на меня сваливал.

Брат заржал конем.

— Из «шкапчика»!.. Красенький такой был!

Хохоча, брат мимоходом ткнул меня казанками в ребра. Больно ткнул.

— Да хватит тебе!.. — рассердился я не на шутку.

— Чаю давай, чаю! Стоит истуканом. Ведь я, поди, брат, да еще старший! И не видались лет пятнадцать... А ты чего сидишь барыней? — набросился он на мою жену.

Взбаламутив сверх всякой меры нашу размеренную жизнь, брат назавтра укатил восвояси, под Фрунзе.

И снова красочные открытки накануне красных чисел календаря. А как-то к первомайской поздравительной открытке была приложена небрежно оторванная ленточка бумаги. Брат сообщал, что «тираж погашения» уже состоялся. «Определили мне 119 рублей 20 коп. Вплотную занялся садоводством и огородничеством. Уйму книг всяких накупил. Одна называется «300 полезных советов садоводу и огороднику».

А через год брат то ли хвастался, то ли иронизировал: «Соседи,

особенно соседки, стали звать меня агрономом. Лучше другого удаются помидоры-«великаны». Крупные и сладкие, собаки. Вот только есть некому стало. Вдвоем, можно сказать, остались. Галька приучает меня к мысли о продаже их на базаре. Толкует, что другие неплохо выручают. Да пропади они пропадом! Пусть гниют!

Прошло еще два года и — письмо, большое, обстоятельное. После рассказа о своем пенсионерском житье-бытье, брат просил приехать с женой и ребятишками: «А если нет возможности подняться кагалом, приезжай один. Надо будет писать — создам все условия. За чаем будем толковать — вспоминать, подбивать бабки...»

Мужская линия в нашем роду, кажись, слабее оказалась. Проскуня девятый десяток завершает, Устя восьмой пополам перешибла, а Петр на шестьдесят четвертом скovyрнулся.

А закончил брат так: «Больше двадцати лет живу я тут, а ты ни разу не удосужился приехать. Ведь это стыдобушка, мои матушки! Ну ладно, что было — прошло. А теперь приезжай, приспело...»

Прочитал я письмо, сижу и думаю: «Стыдобушка, мои матушки!» Так это же мамакины слова, она, бывало, так!.. Чуть что — «так это же стыдобушка, мои матушки!»

Намеренно брат привел слова нашей матери или случайно они вылетели, но задели меня за живое, потянули за собой все прошлое. А прошлое-то, оказывается, уже давнее. Время все к краю подвинуло.

Решил я поехать после завершения весенних работ в саду. Настрою, думаю, все на рост и цветение и отправлюсь.

Я и раньше не раз намеревался навестить брата, но это мое желание остужала предстоящая встреча с Галькой, второй женой брата, бабенкой вздорной, бездумной, ужась как многословной. Наплетет, напутает так, что сама потом не поймет, что к чему и для чего, может, даже себе во вред.

И на тряпки всякие Галька падкая. До того падкая, что если увидит что-нибудь такое, чего у нее нет, так из себя выходит, плачет, несчастной себя называет.

Брат как-то в откровенной беседе с глазу на глаз сказал: «Будь я моложе — разошелся бы. А теперь поздно. Теперь хоть волком вой, но доживай с ней век».

Я понимал брата и сочувствовал ему, потому что знал его первую жену — Лизу. Правда, приехал я тогда, когда туберкулез уже завершал свое коварное дело.

Двадцать семь лет минуло в марте, а Лиза осталась живой в моей памяти. Вижу ее скуластое лицо и черные, немного не по-русски продолговатые глаза с лихорадочным блеском. Она — маленькая и хрупкая, как девочка, а он — верзила, с крупными чертами лица, кудрявый, голос трубный. Кажется — полные антиподы. Но они любили друг друга. Возможно, потому и любили, что антиподы!..

В те трудные послевоенные годы брат заведовал областным торговым отделом. Продовольственные карточки всех категорий и промтоварные ордера на всю область через его руки проходили. Но жил брат скромно. Начальник, думалось мне, областной депутат, а квартира — не повернуться, печное отопление с заготовкой дров и угля, мебель немудрящая, случайная. Ходил брат в костюме защитного цвета, какого-то полувоенного, принятого всеми ответственными работниками покроя. Материал добротный, английский, «сержем», кажется, назывался, но костюм-то один был, на все случаи жизни. Были у брата белые фетровые бурки с отворотами и кожаный реглан.

А Лиза, как я сказал, болела, ей не до нарядов было. Но не всегда же она болела, не всегда обходилась расхожими халатами и платьишками, были ведь у нее и лучшие времена! Однако смерть показала, что после Лизы, в сущности, ничего не осталось, и она за несколько часов до кончины неверным уже, не своим почерком написала (эта записка

попала ко мне и до сих пор хранится): «Вася, из отреза крепдешина, твоего подарка, сшейте смертное, хоть на живульку сшейте...»

Руководящее положение брата стало потом сказываться и на мне, выходить, как говорится, боком.

Учреждение, в которое я поступил, получало, иногда, как и все прочее, ордера на пальто, брюки, шапки, обувь, однако при распределении мне ничего не перепадало, хотя был я гол как сокол, ходил в оставшихся от войны стеганке и кирзовых сапогах. Думая, что причина такого положения кроется в том, что я новичок, я приличное время молчал. А когда наконец осмелился, то вызвал своим вопросом искреннее удивление: «У вас же брат!..» Я тогда к брату. А тот насупился: «Будь ты иной фамилии, я сделал бы... А так, сам понимаешь, не могу...»

Единственное, что сделал тогда брат, так распорядился продать мне четырехтомный толковый словарь Ушакова.

Лиза подарила Василию трех сыновей. Один за одним заявили они на многоопытные руки нашей мамаки, а своей бабушки. Старший учился во втором, средний — в первом, а младшему, Сережке, полгода оставалось до первого класса, и Лизе очень хотелось прожить их. «Проводить бы Сергуньку в школу, а там уж...» — говорила она, вконец измученная болезнью. Но смерть не дала ей эти полгода. В марте она умерла.

Схоронили Лизу — Василий стал попивать.

Я к тому времени женился и ушел на квартиру, так что к брату заглядывал лишь временами, утром по пути на работу, после шести или в иной выходной.

Придешь, бывало, а мать в слезах, кричит на еще бестолковых внучат, воюет с ними, а заодно хлопочет по домашности: «Идолы! вот идолы-то навязались на шею мою. Ей теперь што? У нее теперь — все без заботушки, а тут вот...»

Вскоре выяснилось, что война с внуками — это лишь следствие, а причина — в нем, сыне. Он приходит теперь за полночь и пьяный. «И чо только думает его головушка? Ведь вон какая орава. Кто поднимет, поставит на ноги?»

Мать просила меня поговорить с братом: «Ты потолкуй, потолкуй, ведь край... Ты прям на службу к нему...»

Заодно мать просила помочь ей в домашности.

По домашности, если позволяло время, я помогал беспрекословно. А вот справиться с главным поручением было сложнее. Тема деликатная, а он старший. Не было в нашем роду такого, чтобы младшие наставляли уму-разуму старших. Всегда наоборот было — что старший скажет, то и быть тому. Да и положение наше далеко не одинаковое. Впрочем, набравшись решимости, я заходил к брату и на службу, и домой, но нужного разговора не получалось: то я не решался, то брат уходил от этой темы.

Мать стала неуверенно высказываться о женитьбе Василия. Ей, конечно, хотелось, чтобы сын оторнулся от прошлого, остепенился, но в то же время старуха, похоже, боялась за внуков-несмышленишек. Она сама с малолетства осталась без матери, из-за мачехи скиталась по нянькам да прислугам. Из «людей» замуж выдали «шаснадцати» годов. Пришел, рассказывала, батя с каким-то парнем, вызвали в прихожку господского дома. Вот, сказал батя, весь товар в наличности. По здраву — бери и живите. Вот так и поженились, и людей, слава богу, с твоим отцом не смешили...

Брат женился неожиданно, как-то с наскока. Познакомили его с Галькой без серьезных намерений, а они, не прошло и недели, зарегистрировались. Как это у них получилось — неизвестно...

Моложе Василия на четырнадцать лет, Галька успела побывать замужем. От первого мужа у нее — пятилетняя дочка Элка. Сама Галька белобрысая, наспех и грубо сколоченная, а дочка черноглазая, смуг-

лая, ладная, похоже, все взяла от отца еврея и — ни капельки от матери русской.

Мать Гальки, неплохо пробивавшаяся базарными делами, оставила внучку Елочку при себе, дескать, куда ее туда, коли и там без того орава. Не последнюю роль в этом решении, похоже, сыграли и алименты, в приличной сумме аккуратно поступавшие из Одессы от отца-юриста.

Сразу выяснилось, что Галька совсем не в дружбе с дипломатией, потому с первых шагов стала откровенно выказывать свою суть. И, кажется, гордилась тем, что она такая...

Прихожу как-то, а мать: «Степашк, может, уймешь того идола? Сделай чего-нибудь, чтобы он примолк. Житья не стало. Как только через порог, так — к ему и а-ла, ала-ла... Все в магазины колотит, все требует чегой-то. Вынь да положи ей... Кому, говорит, нет, а мне должно быть...»

Я заметил, что виноват тут, кажется, не телефон.

«Твоя правда, похоже, такая закваска... Лиза-то, бывало, касательства до него не имела. Ну не без того — позвонит кому или ей кто...»

Я поинтересовался, знает ли Василий, что Галька так настойчиво осаждает магазины.

«Как не знать! Оттуда же из магазинов извещают его».

«А он что?»

«Видом недовольтвует. А вотет как-то спросил. Почему ты, говорит, такая дура. Дура, отвечает, аль нет, но твоя, Васенька, жена фициальная, честь по чести расписанная. И ржет, лезет без стеснительства ласкаться. Я, говорит, тебе ребенка рожу, сыночка...»

Когда я уходил, мать сказала: «Одна утеха — к ребятишкам будто без злобства... Случится — нашумит и тут же забудет, сызнава по-хошему...»

Вскоре выяснилось главное — Василий не остепенился, наоборот, женитьба, кажется, подтолкнула его, так что все чаяния матери пошли прахом.

В то время страна еще не остыла как следует от войны, поэтому решалось все круто, но к брату отнеслись, кажется, с пониманием, милостливо — его перевели на другую работу, менее ответственную, но тоже руководящую.

Год примерно спустя брат уехал в Среднюю Азию, где жила своим семейством Устя, одна из наших сестер.

Брат, похоже, решил начинать все сызнава...

Там Галька, сдержав свое обещание, родила Василию сына.

Брату было тогда сорок лет.

* * *

Места наши были засушливыми — год уродит, а три все дотла выгорает. Семья Аникиных, состоятельная и шумная, какая-то заполошная, с вертким Пимахой во главе. Пимахины держали у реки Старки плантацию.

В аэропорту среди людей за железной оградкой я еще издали отыскивал взглядом своих. Метров с двадцати бросился в глаза рослый молодой человек. Смотрит на меня и смеется... Да это же Сережка, младший из тройки! Его так хотелось матери проводить в первый класс. Он, чертяка, он!.. Вернувшись тогда с похорон матери, Сережка-глупыш был ужасно доволен: «Ух и покатались! И еще досыта покатаемся! Баба умрет, потом папа...»

Обнялись с племянником, смотрю — рядом второй улыбается, Мишка, сын сестры. А брата Василия нет, хотя телеграмму я послал на его имя. В чем дело?

Племяши переглядываются, смеются. А он тут как раз и объявился. Прятался ради шутки. Вынырнул из-за толпы и облапил.

Потом, несколько отстранясь, мы оценивающе смотрели друг на друга. Не знаю, что думал обо мне брат, а я с трудом узнавал его — так он разительно изменился после нашей последней встречи. Брат и будто не брат. И беда мне показалась не в том, что у Василия добавилось морщин на лбу, под глазами, вокруг рта, что волосы на голове, когда-то густые, темно-русые, кудрявые, теперь изредились до невероятности, иссеклись, стали белыми, — вся беда увиделась мне в цвете лица брата — лицо было желтым, безжизненным.

Но я не подал, конечно, никакого вида, тем более, что брат смеялся, шутил.

— Вытащили подлеца! Наконец-то вытащили.

Сережка отобрал у меня чемоданчик, и мы пошли. У меня отпала необходимость думать и беспокоиться — я весь отдался во власть брата. А впереди уверенно шагали племянники, молодые и здоровые ребята.

— А знаешь! — Брат стеганул меня ладонью между лопаток. — Арбуз купили! У вас когда они?..

Я сказал, что в конце августа, кажется, или даже в сентябре...

— А сегодня?..

Я сказал, что сегодня седьмое июля.

Брат был ужасно доволен.

Племяши свернули к автомобильной стоянке. Мы — за ними.

Современные «кони» сверкали под жарким солнцем никелем, стеклом и лакировкой. Некоторые урчали и фыркали, готовые ежесекундно сорваться и унести, но большая часть их еще наслаждалась покоем.

— Битте! — Мишка открыл дверцу бежевого «Запорожца». — Пока такой, но будет лучше, «Москвич» будет! Мы, Карасевы, такие — слов на ветер не бросаем.

Почему-то только теперь я заметил, что Мишка, сын нашей сестры Усти, невысок и толст, шеи нет — голова посажена между жирных плеч. И самодовольством светится наш племянничек. Светится, кажется, не меньше, чем его ухоженная машина полировкой.

— Может, сразу направляю?.. — сказал Василий, хмурясь и гоня на скулах желваки.

— Ты что, пап! — запротестовал Сережка. — Там же обед...

Рядом с Мишкой Серега выгодно отличался и ростом, и стройностью. Импортный костюм, может, и недорогой, но приятной расцветки, сидел на нем ловко, аккуратно. Из-под распахнутого пиджака кокетничала своей бесподобной белизной какая-то совсем не ширпотребовская рубашка-сетка.

И дома, в двухкомнатной квартире, у Сережки было чисто, аккуратно. Импортный гарнитур, ковер на стене, палас на полу, горка хрустала в серванте создавали впечатление уюта, правда, уют этот был каким-то холодноватым, предостерегающим, что ли, дескать, смотри, но воли большой себе не давай, будь осторожен.

Когда сели за стол, Сережка спросил:

— Что будем пить? Шампанское или коньяк.

— Ну вот еще!.. — фыркнул Василий, бросая сердитый взгляд на сына.

Я сказал, что в такую жару лучше не пить ничего. Чтобы засветло завершить путешествие, выехали сразу после обеда.

Как только вырвались на широкую, обсаженную старыми развесистыми деревьями автостраду, завязался неспешный, без определенной последовательности разговор.

— Сергей все там, в Кирпотребсоюзе?

— Он теперь заведует отделом. Кажется, десять человек в подчинении...

— Смотри-ка!.. — Я вспомнил рассказ мамаки, как она привязывала внучат к ножкам стола: «Привяжу и пойду в огород или ишо по каким делам».

— А я все по снабжению... — неожиданно сказал Мишка. — Хлопотно, известно, командировки... Но если с умом, без навару не обходится...

— Тебя, если слушать... Как ты до сих пор не в тюрьме?.. — Брат достал сигарету, хотя только что выбросил окурочек в окно.

— Тюрьма — она для дураков...

Мишка, довольный тем, что так хорошо сказал, рассмеялся. Сделал он это как-то по-своему — захекал: кхе-кхе-кхе... И нам с заднего сиденья было видно, как подрагивают его жирные плечи.

Брат снова погонял по скулам желваки и неожиданно спросил меня о погоде.

Я сказал, что весна была коварной. Сады, обманутые ранним теплом, пошли в рост и цветение, а тут — холод, морозы...

И Мишка опять встрял.

— Жить в вашей Сибири я добровольно не согласился бы. Если уж в порядке наказания какого, тогда да... А так, чтобы добровольно, — ни за что!..

Я почувствовал, что мое терпение иссякает, а неприязнь к Мишке поднимается прямо шапкой, как вскипающее молоко. Я или закричу сейчас что-нибудь обидное, или скажу, чтобы племянничек остановил машину.

Брат, поняв мое состояние, предпринял отвлекающий маневр, сказал, что не знает, как я полажу с его дворовыми.

— С Галькой, что ли? — сказал я и сразу спохватился — совсем не то ляпнул.

А брат уже хохотал.

— Нашел тоже дворовую... Эта дворовая... — Согнав с лица смех, Василий сказал: — На этом фронте полный порядок... У меня ведь две собаки...

Тут я как-то враз оттаял. Но, улыбаясь, продолжал думать о Мишке и о тех трудных шарадах, которые устраивает нам жизнь. Почему у парня такая спесь и самодовольство, где ее корни?! Правда, встречался я с Мишкой редко, мимолетно. За все послевоенные годы только два-три снабженческие обязанности забрасывали его в наш сибирский город. Из коротких встреч я уяснил, что Мишка ужасно скучный. Я мучился от того, что не знал, о чем с ним разговаривать. Впрочем, однажды племянник развеселил меня. Стараясь блеснуть литературной эрудицией, Мишка сказал: «Дети капитана Крузо».

Но смеялся я тогда снисходительно: что взять с парня, если ему едва исполнилось восемнадцать, взяли на фронт, там тяжело ранили...

Мишка, нужно отдать ему должное, вел своего «Запорожца» аккуратно, умело — не осторожничал слишком, но и лихачества безрассудного не допускал. Так что не прошло и часа, как мы, свернув на тихую улочку, остановились около белого шлакобетонного дома под шифером. В палисаднике буйствовали, предоставленные сами себе, вишня и хмель, а за зелеными воротцами ударили два колокола. Сначала тоненький звонко залился, а потом, поддерживая его, — басовитый, мощно и гулко: бум, бум, бум...

Брат усмехнулся, кивнул в сторону двора.

— Слышишь?

Я поблагодарил Мишку, а Василий сказал, чтобы он завтра привез мать.

— Утром мне на работу...

— Привезешь после работы.

А колокола все заливались, правда, басовитый бил заметней реже

и неохотней, похоже, раз от разу проникался сознанием бесполезности своего труда.

Мишка молча захлопнул дверцу и сдал для разворота машину назад. А Василий тем временем открыл калитку. Из-за его спины я увидел черный, лохматый шар. Он крутился и метался у подворотни.

— Шарик, что ли?..

Наше появление не на шутку озадачило Шарика: как в одно и то же время выказывать преданность хозяину и строжиться на постороннего. Впрочем, многолетний опыт помог Шарику — он крутил каралькой репыстого хвоста, тыкался в ноги хозяина, а на меня продолжал тявкать.

— Разве так встречают гостей? — спросил я с укором.

Шарик смолк и снизу растерянно смотрел на нас умными коричневыми глазками.

Внешнее сходство у нас с братом, кажется, не такое уж и разительное, но голоса при телефонных разговорах часто путали. Возьму, бывало, трубку — признают за брата: «Василий Николаевич!». Так что Шарику было от чего растеряться.

А в глубине двора гавкала и брякала цепью крупная дымчатая овчарка. Где-то мяукала кошка.

* * *

И все пошло так, как обычно бывает после долгой разлуки — сумбурно, бестолково, говорили все разом и каждый о своем. Правда, я вначале пытался упорядочить разговор, сделать его хоть в какой-то мере целенаправленным, но вскоре отступился. А потом был даже доволен, что все идет вразнобой, — забавней получается...

Галька успевала и манты варганить, и говорить больше всех. Если намеревалась рассказать что-то, по ее мнению, смешное, то сначала хохотала сама, восклицала: «Прямо умереть можно!», а потом рассказывала. Раньше я не замечал за ней такой привычки, а теперь она надоедала.

Когда зашел разговор о мамке, ее свекрови, Галька так и раскололась:

— Ха-ха-ха!.. Прихожу с работы, она вот тут, у самого порога... С табуреткой выбралась — двигает перед собой... «Речка тут есть? Где, Галь, речка?» Это она — топиться... Ха-ха-ха! Умора!

Ни я, ни Василий не поддержали смеха Гальки. Нам вовсе не было смешно.

— Ведь она всю жизнь работала, как вол. Рожала и работала... Все на ней держалось, весь дом. А тут — и себе и другим в тягость.

Я знал, что под конец, когда мамака совсем плоха стала, Галька и даже наша сестра Устя стали отступаться от ухода за ней. Наотрез не отказывались, но причин всяких для увиливания у них находилось все больше и больше. И тогда Василий, видя такое дело, все взял на себя: сам кормил, сам постель менял.

Тогда, на исходе мамакиной жизни, приехала наша самая старшая сестра. «Мам, это я, Проскуня. Узнаешь?» — «Проскуня? А за кем ты замужем была?»

За ужином Василий даже одного манта не осилил. Поковырялся вилкой и отодвинул. Выпил стакан крепкого чая. Галька, конечно, сразу с апелляцией ко мне. И все — на высоких нотах, криком.

— Ты вот погляди!.. Совсем не ест. Стряпаю, стряпаю, все — собакам.

— Они от этого не в обиде, — буркнул Василий.

— Ведь два килограмма баранины заливной!..

Мы вышли и уселись на крылечко покурить. Ночная прохлада одолевала, но никак еще не могла до конца осилить дневной зной. Деревянные ступеньки припекали, как неостывшая печка.

Откуда-то вынырнул и завертелся, заюлил Шарик, бросился лизать босые, в стоптанных чувяках ноги хозяина.

— Хватит! Ну, слышишь — хватит!

Шарик, отскочив, бросился к моим ногам, щекотливо лизнул.

— Признал, подхалимчик? — спросил я, отдергивая поочередно ноги.

— Совсем состарился, — сказал брат. — Кости уже не по зубам стали.

Брат, помолчав, неожиданно толкнул меня в бок.

— А вот Найде не отдаст. Взял бы и отдал, коль сам не может. Нет — он прячет, закапывает... Вот какая психология!..

Шарик сидел в полосе света, падающего в открытую дверь веранды. И только теперь, пристально приглядевшись, я понял, что он действительно старичок. Маленькая мордочка хотя сохраняет в какой-то степени былую симпатичность, но вся побита сединой. Особенно много ее около рта и глаз. А клоچья шерсти-линьки, репы в хвосте — все это от старости с присущей ей небрежностью к себе.

— Психология не только Шарика, вообще старости... — сказал я.

— А ведь и то правда, — согласился брат секундами спустя. — И человек в старости хомяком становится: все — в нору, все — про запас, про черный день...

Я сказал, что в этом есть своя логика. Силы и возможности таят, сменяются неуверенностью, думами о неизбежных болезнях...

— Да, невеселая пора... А видится-то в старости куда дальше, многое становится понятным.

* * *

Мне отвели угловую комнату, узкую, продолговатую, об одном окне, забранном между рам железной решеткой. Сразу у окна — никелированная кровать, за ней, в темном углу, — стол и электрическая лампа под зеленым колпаком.

— Вот — спи, читай, работай, если придет охота, — сказал брат.

— Тут тихо, мешать некому, — сказала Галька.

Я поинтересовался, чья это комната.

— Сначала мамакина была, потом Володька орудовал...

При упоминании о Володьке, их единственным совместном сыне, глаза Гальки загорелись восторгом, а сама она, будто на крыльях, воспарила.

— Он ведь чуть дом не спалил. Такой взрыв устроил — стекла по-вылетали, соседи сбежались.

— Опыт по химии... — бесстрастно прокомментировал Василий.

— Вот придет — посмотришь... Там такой!.. Обувь — сорок пятый размер... Выше отца. Все — импорт, импорт, иного на дух не надо.

У Гальки получалось, что «опыт» по химии, сорок пятый размер обуви, импорт — все это редкостные и неоценимые достоинства ее чада.

— Набаловала до невозможности, — сказал брат.

В его голосе я как-то не уловил ноток осуждения.

Василий и Галька ушли, а я лег, взял книгу. Думал, по своей давней привычке почитаю несколько и засну. Но не тут-то было. И прочитанное не шло в голову, и спать не хотелось.

Прошло немало времени, пока я понял, что причина бессонницы в мамке. Она здесь, со мной. Как только я остался в одиночестве, она сразу пришла, и все время со мной. «Ты что это, Степашк, а? Куда такое, мои матушки, годится! Ведь ты — сын, пускай последний, нежеланный вовсе, но все одно — сын. Да не бери в обиду, что сказала

«нежеланный». Пойми, вас ведь шаснадцать было аль даже больше — я запаматовала... Отец — тот знал, у него в синей книжечке все прописано было, а мне где помнит — я запаматовала... Вот и говорю, что не годится так... Больше десяти годов, кажись, я домучивала тут свое остатнее, а ты и разу не проведаль. Слов нет — деньги слал, этого не отнимешь. Только деньгами не все можно заменить, ох как не все... И скоронить не удосужился. Все некогда вам, все недосуг, не думаете, что и самим умирать доведется». — «Да не было меня, мамак, не было. Целый месяц не было меня тогда дома. Я не знал даже, что ты умерла. Я потом только узнал, когда приехал. Плохо, конечно, я виноват...»

Было душно, но в форточку вривался не свежий ночной воздух, а ночной лай собак. Я ворочался с боку на бок, много курил и думал. Хуторская жизнь так навалилась, что совсем душно стало. Ох и жили!.. Все для скота и для хлеба. Ради еще одной коровы, лошади или верблюда ходили без пательного белья, валялись на колючей кошме, обувались в уродливые сыромятные поршни.

Великим постом, когда в катухах, хлевах и конюшне начиналось прибавление, наша «летучая мышь» с помятым боком не гасилась, а только до минимума привертывалась. Мамака по подсказке отца то и дело будила Петра: «Петь, а Петь, мороз-то лютой... Сынок, сынок...»

В это время наша изба наполнялась ягнятами и телятами. Телята прудили, валили, опрокидывали посуду, жевали, мусоля что ни попадя.

Ребенок или взрослый заболет — ничего, бог даст — обойдется. А вот если со скотиной что случится — переполох, тревога.

Июньской грозовой ночью волк, изловчившись, вырвал у жеребенка ягодицу так, что кость белела. Мамака так заботилась о Трушке, столько отдала ему внимания, сколько нам всем шестнадцати, пожалуй, не перепало. И ведь выходила...

Мартовским утром, когда Оня, жена Петра, доила коров, теленок спрокинул их годовалого первенца, наступил ему на руку. Сенька зашелся в крике, мамака, до этого хлопотавшая около печки, никак не могла его унять. А тут как раз Петр зашел со двора. Узнав в чем дело, зло хлопнул галицами об стол. «Да что же это такое, куда годится! Может, нам с Оней в катух перебраться, там спокойней?..» — «Да будя те, Петя, будя, остынь, обойдется...» Мамака, унимая внука, дула ему на ручку и все косилась на запечье, где сидел в темноте батяка. «Нет, не будя, мамака, совсем не будя! Живем черт знает как!.. С этой скотиной проклятой сами в скотину оборачиваемся!..»

Из темноты запечья выдвинулся батяка, стоял с выражением крайнего изумления на худом волосатом лице. И удивлял его, кажется, не столько смысл сказанного Петром, сколько то, что сын так дерзко осмелился поднять голос.

А Петра уже понесло — он не мог остановиться, а возможно, и не хотел этого. «Дичае день ото дня, забываем, когда живем, то ли при Иване Грозном, то ли еще когда... Сколько просил хотя бы «Крестьянскую газету» подписать...» — «В отдел, что ли, со своей Оней надумали?» — хрипло от с трудом сдерживаемого негодования бросил батяка. «А хотя бы и в отдел, батяка! Невмоготу стало». — «А ты знаешь, как нас с матерью отделили? Чо было на нас, в том и выпроводили». — «Так, так, — кивала мамака, — телочку годовалую потом дали, отбоярились...» — «Теперь так не станется, — сказал Петр, — сельсовет не дозволит. Он хоть и за двадцать верст, но ведь я там член... По справедливости все распределят».

Неизвестно, как повел бы себя батяка, не завяись Васярка. Подрумяненный весенним морозцем, до крайности возбужденный, он прямо ураганом ворвался. И, не замечая гнетущей обстановки, сразу от порога бахнул: «По той стороне прудов совхоз создается!» — «Эт какой еще такой сохвост?» — встревожилась до бледности на лице мамака. Васярка хохотнул. «Да не сохвост, а совхоз, мамака, советское хозяй-

ство, значит... Овец каких-то особенных разводить стануть. Ну и посева, само собой... Все казенные земли им отходят...» — «Опомнись! Чего плетешь? — перебил батяка. — Это с какой стороны донеслось до тебя?» — «Дык от Фроловых, батяк, — сказал Васярка, несколько растерявшись. — Два каких-то важных начальника остановились у них. Цугом прикатили. Там такие лошади — картинки!..»

Батяка закашлялся, схватился за грудь. Мамака зачерпнула ковшом воды: «Испей, отец». Батяка отвел рукою ковш, исподлобья глянул на всех отчужденно-страдальческим взглядом: «Табак там... Да поживей!..»

* * *

Брат снова почти не ел. Для меня разогрел вчерашние манты, а сам ограничился кефиром. Пил его не только без всякого удовольствия, но даже с явным отвращением на лице. Стакана не осилил.

Я сказал, что надо навестить мамаку. Давно думал об этом. И этой ночью тоже...

Брат пожевал сухими губами и попросил налить в пиалу чая.

— Если идти, то сейчас же, до жары... Краску приготовил, а покрасить никак не соберусь...

— Давай возьмем и покрасим...

— Потом как-нибудь... Слабость какая-то...

— Так не ешь ничего. Надо провериться у врачей.

— Проверился бы, если бы своя жена не была врачом...

— Врачи — люди, а люди все разные...

Брат, отхлебывая из пиалы чай, молчал.

— Ты просто боишься... Мнишь черт знает что.

Брат, насупясь, ударил меня взглядом. Ударил так, что я, невольно дрогнув, сразу вспомнил батяку. Только тот так мог. Глянет, бывало, душа в пятки... Пальцем не трогал, а боялись его куда больше мамаки, которая то и дело пускала в ход рушник.

— Пошли! — Брат, отодвинув пиалу, решительно встал. — Будем до обеда прохлаждаться.

На улице из-за кучи глины, сваленной около сухого арыка, выскочил дьяволенком мальчишка, черный и чумазый, в одних трусишках.

— Дядь Вась, сдласть!

— Здравствуй, Кирил, здравствуй!

— А конфетка, дядь Вась?..

— Конфетка? — Василий сунулся в один карман, другой. — Нет, Кирил, забыл.

— Дед! — крикнул мальчишка и дал стрекача.

Брат расхохотался.

— Откупаешься?

— Откупался... А сегодня вот не вышло...

Пока мы шли улицами, прикрытые тенью деревьев, было вполне терпимо. Но как только последние домики остались за спиной и перед нами открылся выгон — бурая равнина с белесыми, небрежно разбросанными камнями, — стало жарко. Солнце пекло, подталкивало к зеленому, отдаленно маячившему острову.

В поселке мертвых прохладная тишина дышала забвением и отрешенностью. Абрикосы, тополя, вишни и клены сплели ветки так, что внизу по траве расстилалась плотная тень, испятнанная солнечными зайчиками. Плоды абрикосов обильно завязывались, наливались и, созрев, осыпались. В траву, на тропинки, за оградки могил — всюду осыпались эти желтые плоды. Сбежав с могильных холмов, они скапливались в ложбинках...

Руль автомашины привлек наше внимание. Самодельный обелиск из железа, а над ним — черная, истертая ладонями баранка. Владелец

ее смотрит просто и чуть устало. Ворот неказистой рубашки распахнут, на полных губах — следы растаявшей улыбки. Похоже, фотограф-любитель щелкнул его сразу после утомительного рейса. Щелкнул, возможно, потому, что на доску Почета потребовался портрет, а возможно, просто по дружбе, на память...

С других обелисков смотрели старые и не совсем старые военные. И чем больше звание, тем больше начальственной строгости. И только солдат смеялся. Смеялся от души, заразительно. И лет ему было всего девятнадцать. Ему бы еще жить да жить, любить, детей нянчить...

Труд чабана был отмечен герлыгой, прилаженной к камню-дикарю. Кто-то, глухой сердцем, пытался выломить герлыгу, но то ли помешали ему, то ли сам он устыдился наконец своих кощунственных действий.

А на могиле мамаки ничто не выражало сущности ее жизни. Обыкновенный, каких много, обелиск. Даже нет портрета, потому что фотография от времени выцвела, пожелтела. Брат вынул ее, а новой не нашел... Только фамилия, имя, отчество и даты: 1870—1960.

Батяка умер в 1929 году, а мамака, его ровесница, прожила еще тридцать один год. Двадцать пять из них — в Сибири и Средней Азии, о которых до этого она, неграмотная, пожалуй, и не слышала. А если слышала, то представляла «бознать» где — на самом краю беспредельного света...

Мы стояли в задумчивости у железной оградки мамакиной могилы, и мне вспомнилась последняя из немногих фотографий мамаки. Я приехал тогда из командировки, а фотография в почтовом конверте уже ждала меня на столе.

Мамака лежала в гробу спокойная, умиротворенная. Смерть, уподобясь скульптору, сняла с лица старческие наплывы, следы постоянных старческих болей и житейских невзгод — лицо стало строгим и благородным в своей отрешенности.

Но больше лица, пожалуй, поразили меня тогда руки мамаки. Огромные, сухие и коряжистые, сложенные на груди кисти рук напоминали корневище могучего дерева.

— Видишь, место около мамаки? Это я для себя... Сразу оставил...

Каждый, пожалуй, переступив рубеж своего пятидесятилетия, начинает приучать себя к мысли о неизбежности своего конца. Думает, приучает, а сам в то же время надеется, потому что конец бывает разный. Он приходит в шестьдесят, семьдесят, восемьдесят и даже в девяносто...

И я, покосясь на брата, который был высок, строен, широк в кости и все еще силен, подумал о том, что его смертный час скрыт далеким будущим. Положат тебя рядом с мамакой, но ты еще поживешь. Подремонтируешься и поживешь. Пошумишь еще, посадовничаешь, на внуков порадуешься, своим богатым опытом поделиться с людьми...

И сам брат, несомненно, так полагал...

Но судьба полагала иначе — она свернула все на скорую руку...

К вечеру, когда жара стала несколько утихомириваться, Галька предложила сыграть в дурака. Мне эта игра казалась пустым растранижением времени. Но Галька не только просила, а прямо умоляла.

— Пойдемте в сад, там прохладнее. Поиграем, потом я за ужин возьмусь... Курицу принесла, жирная.

— Дань с больных?

Галька так и расколосась.

— Хах-ха-ха! Да нет... А знаешь, у нас в институте профессор был... Александр Павлович... такой солидный, красивый... так он прямо говорил: «Больного в первую очередь изучайте с точки зрения личной выгоды — кто он, чем можно от него попользоваться».

— Шутник был ваш профессор. А у некоторых студентов чувство юмора, кажется, отсутствовало.

Галька не сразу сообразила, что к чему. А сообразив, неожиданно набросилась на Василия.

— Это от тебя все, праведник! Я если и беру, то не даром, всегда рассчитываюсь. А он — куда тебе!.. Съест, потом придирается... — Галька удовлетворенно хохотнула.

— Вот видел? — обратился ко мне брат. — И завсегда так — спустит собаку... Я уже не ем и не придираюсь...

Желание играть в дурака окончательно пропало. Я сказал, что пойду читать.

— А карты? — спохватилась Галька. — Да ты не обращай внимания: мы завсегда так...

— Не «мы», а ты завсегда так... — поправил Василий.

— Ну, сам тоже хорош. Один взгляд чего стоит. Как палкой ломанет, честное слово, Степан!.. — Галька захохотала и полезла к мужу с лаской.

— Уйди! — отбивался Василий. — Кому говорят!..

— Достань новую колоду.

— Старыми обойдешься.

— Ух и скупой стал твой братец, Степан.

— Скупость — не глупость, — парировал Василий.

— Да начитаешься, успеешь. Завтра среда. Завтра ему некогда — приемный день.

Я с недоверием покосился на Гальку, потом вопросительно на брата.

— Появилась мысль, что она ненормальная? — спросил меня брат. — Правильная мысль.

— При таком муже можно и душой безбедно пробыть. Ты посмотри на его голову. Посмотри! — Галька потянулась пятерней к брату.

— Отстань, банный лист! — Василий кричал громко и строго, уклоняясь от руки Гальки, но по всему было видно — ему приятно, что жена его так поднимает.

— Шестьдесят второй размер! Не голова, а ...как это?..

— Амбар, — подсказал брат.

— Да не амбар! Скажет... Совет старейшин, что ли?..

Мы расхохотались, а Галька тем временем старалась утвердить свою мысль.

— О нем ведь в газетах писали. В нашей республиканской и в «Советской торговле»... Делегации наезжали за опытом...

Я вопросительно смотрел на брата...

— На этот раз не врет... — Он нашел наконец новые карты. — Пошли, а то Устя прикатит. Табуретку... Кому говорят!..

Это он на меня рявкнул, потому что я вышел без табуретки. Рявкнул так, что я вздрогнул, а брат рассмеялся и хлопнул меня по плечу.

— Как это у Толстого о кургане?..

— Не помню... Петр любил это стихотворение, а я не помню.

— Я тоже знал, а теперь забыл... «Народов сменили народы, лицо изменилось Земли...» Забыл...

Галька уже сидела под яблоней и ждала нас.

— А газета? Где газета?

— Да ничего им не станется. — Галька вытерла ладонью табуретку. — Дрожит...

— Карты-то новые.

— Не последние, поди? У тебя в запачке...

Пока они препирались, я принес газету.

Первый кон закончился поражением Гальки. Она заметно побледнела, напряглась, сказала угрожающе «ну, ладно!» и принялась ловко сдавать.

— Замечаешь, какой опыт?.. — подначивал Василий. — Много-летняя тренировка.

— Ладно... Посмотрим... — отбивалась Галька, не теряя угрожающих нот.

Второй кон оказался неудачным для меня. Галька засияла медным тазиком, в котором она варит варенье, от удовольствия ерзала по табуретке, потирала ладони. Для нее главное, конечно, что не она в дурах. Василий улыбался, не злорадно, но улыбался. А я, тасуя и сдавая карты, чувствовал себя чертовски неприятно. Что бы тут такого, казалось?.. Взял и зачем-то сказал, что из козырей одна восьмерка приходила.

— Кто не умеет — всегда так, на козырей ссылается, — хохотнула Галька.

«Вот уж воистину дурак! — укорил я себя. — Надо было вылезть с оправданием?»

— А что за приемный день у тебя завтра?

Сказал и понял, что главное, что толкнуло меня на вопрос, — желание уйти от чертовой «дурацкой» темы. Брат тоже, кажется, понял и не спешил с пояснением. Зато Галька сразу клюнула на «приманку».

— Знаешь, какой он законник! Любого юриста заткнет...

— Ну, понесло... — сказал брат. — Ходи!

— Как жалобу напишет — все! Пенсию тут одному добился... Тот — с бутылкой коньяка... А этот чуть его не взашей... Умрешь!..

— А он что? — я кивнул на Василия. — Приемный день установил?

— Да, табличка: пенсионер такой-то принимает по средам с пятнадцати до восемнадцати, что ли? — обратилась Галька к мужу.

— Плетет... — сказал мне Василий. — Захожу — мой приемник неопытный... Попутно, конечно, другие вопросы возникают...

— Ты Лесю Паукова помнишь? Да у нас на задах жил! Высокий, тонкий, а мазанка — от земли не видать. Зимой с трубой заносило...

— Мазанку-то помню... Усатый?

— Точно! — обрадовался я.

— Овец, кажется, пас?

— Это потом... А в революцию, говорят, в каких-то начальниках ходил. Сам неграмотный, так попросил написать на двери: «Без стука не входить!»

Брат рассмеялся, а потом вдруг смолк, уставился на меня.

— Эт как называется? Подначка?

— Вспомнилось почему-то... Может, по аналогии...

— А может, придумал?

— Да нет...

Брат пожевал губами, взял карты, принялся разбирать их, козырей переталкивая в левую сторону.

— Чем написали-то?..

— Мелом, наверное. Чем же еще?

— Дегтем можно... «Без стука не входить!» — И заржал. — Лучше было: «Без стука не влазить!»

Игра продолжалась с переменным успехом. Галька все-таки больше оставалась, потому начала кипятиться, обвинять нас в сговоре.

— Известное дело — братцы, навалились...

Я, теряя выдержку, доказывал, что никакого сговора нет.

А у Василия — успех, ни разу не остался. Он курил и ухмылялся, а иногда и откровенно похихатывал. Гальку это прямо бесило.

— Давай, Степ, его... Ишь, лыбится...

— Давай...

— Да он все равно вывернется. Все карты помнит, без козырей вывертывается.

* * *

Устя на двадцать один год старше меня, поэтому молодые годы ее я знаю только по рассказам.

Устю два раза выдавали замуж. В первый раз — верст за семьдесят в молоканскую семью. В голодном двадцать первом году та семья вся вымерла: сначала свекор со свекровью, золовка, а потом и муж. Устя с кем-то сумела передать о своей беде — батяка поехал и привез ее «еле теплую». Я смутно помню, как мамака выхаживала Устю. Она все рвалась до лепешек из рыжика, черных и горьких, а мамака не давала. «Хучь немножко... Жадоба!» — плакала Устя.

Филиппа судьба тоже не баловала, в германскую пуля пробила навывлет грудь. Филипп дрался с беляками, а вернулся — жена умерла от тифа, оставив дочку-малолетку.

Наши говорили тогда, что Филиппу жить с Устей способно. Она хоть далеко не красавица, но силы и сноровки не занимать, в работе удержу не знает, берется за все, что следует и не следует. По дому, по двору и в поле — всюду попевала Устя. Своих детей, прижитых с Филиппом, от падчерицы не отличала — скудные гостинцы и щедрые подзатыльники всем поровну делила.

А Филипп был себе на уме, улыбчивый, компанейский, для нас, детей, в карманах у него всегда находилась конфетка. В работе Филипп лишку хватать не старался. Он любил послоняться по базару, без надобности прицениваясь к тому и другому, поточить ляды с мужиками, весной пропадал на яру, где разгорались кулачки. Сам в драку не вязывался, но сопереживал ужас как. Домой Филипп не спешил, потому как знал — Устя в струнку вытянется, а порядок во всем наведет, скотину голодную и непоенную в ночь не оставит. А то, что Устя не умела сбавлять голоса, кричала вгорячах, поучала — на это Филипп внимания не обращал. Разве что ухмыльнется, шевели усами, и скажет: «Ладно те, мать...»

Приехав с хутора учиться, я одно время жил у Филиппа с Устей. Помню, сколько волнений и споров было у них по поводу вступления в колхоз. Филипп говорил, что раз уж на то пошло, то артачиться нет смысла. Артельно-то в делах способней и веселей. А Устя противилась. Она толком объяснить не могла, почему противилась, но противилась. Похоже, жаль было расставаться со скотиной, сбруей, инвентарем...

Филипп какое-то время был бригадиром полеводческой бригады, потом его избрали председателем. С весны он много мотался по полям, возвращался зачастую за полночь, ставил во дворе лошадь и валился спать. Утром, когда он еще спал, завтракал или уже запрягал лошадь, чтобы снова отправиться на поля, приходили люди с различными делами, которые без «самого» никак не решались.

Время было трудное, село перебивалось на мякине, кореньях и сусликах. Усте казалось, что люди под предлогом всяких дел стараются выведать, как питается председатель, поэтому норовят непременно к завтраку... Устя же, гордая сознанием того, что ее Филипп такой значительный, выскребла из ларя остатки муки-сеянки, пекла на кусочках свиного сала толстую кислую пышку во всю сковородку, варила на молоке кулеш или лапшу.

Мы завтракали в горнице, а Устя во дворе или прихожке кричала: «Угомона на вас нет... Да он совсем уж на заре приехал... Пока с Половины добрался...» Устя кричала, нисколько не сбавляя своего громкого голоса, но на нее, кажется, не обижались.

Филипп за те недели весеннего сева почернел и осунулся. Не стало у него шуток и разговора почти не стало. Мишка с Нинкой и так и этак около вьются, а он все молчит. Или буркает: «Гуляйте на улицу. Там вон солнце...»

Как-то он сказал: «Люди не токмо работать, сами себя не носят.

Что было на общественное питание — съели. Теперь и журмы не станет. А сеять еще столько. Не знаю, как и быть...» — «Никон Игнатич-то опух, как чурбан стал, — сказала Устя. — Не подымается». — «Ты отнесла бы чего-нибудь...» — «Твоих указаний ждала!.. Уж отнесла. Молока отнесла, картошки малость. А хлеб у самих на исходе».

Весенний сев еще только заканчивался, Филиппа посадили. Суд был показательным, в нардоме. Филиппа спрашивали, как он растранижил семенной фонд. «Я самолично фунтом не пользовался». — «Самолично или сплавил на сторону — нас это меньше всего... Десять центнеров из общественного амбара ушли?» Филипп молчал. «Ушли по твоему личному указанию?» — «Считайте, что так...» — «Карасев, выражайся точнее». — «Я подписал требование. Выходит, по-моему личному...» — сказал Филипп, хотя до этого говорил Усте, что вопрос о размоле десяти центнеров семенной пшеницы решался на правлении, но протоколом оформить это заседание забыли или не захотели. Поэтому как дело дошло до ответственности, так все отказались. «Десять центнеров — это минимум десять гектаров, сто, а то и больше центнеров хлеба нового урожая! Вот какой урон нанес ты, Карасев, колхозу и государству, значит».

— А не размели мы эти десять центнеров — вовсе ничего не посеяли бы. Неужто непонятно такое?..

«Ерофей Павлович!» Со станции такого странного названия приходили письма, которые Устя заставляла меня читать так часто, что я потом помнил их наизусть, помню кусками и теперь, более сорока лет спустя. Химическим карандашом, коряво, Филипп сообщал:

«Дорогая супруга Устинья Николаевна! Не послушай я тебя тогда, не возьми тулупа и валенок, сгинул бы, потому как привезли нас под открытое небо, а морозы стояли страшные». — «Видишь, вот как? А он отбивался, вечно, говорит, ты навязываешь... Жена плохого не пожелает», — заключала Устя.

«Дорогая супруга Устинья Николаевна, детки Нина и Миша! Дела наши помаленьку выправляются: сами построили себе бараки, печки железные установили, так что теперь можно погреться, обсушиться и кипяточком побаловаться. Строим вторые пути. Работа тяжелая, земляная, а норма немалая. Я поначалу с одной никак не справлялся, а теперь две и больше выгоняю. За такую старательность — хлебная добавка и зачеты. Один день двумя и тремя оборачивается. Так что, если все по-хорошему, то я свою десятку, глядишь года в четыре и уложу.

Одно плохо, мои дорогие, — за вас сердце болит, особенно после того, как прописали, что у вас там сызнава неурожай. Ведь это прямо напасть какая-то! Вот потому и забота. Как ты там одна с детьми одолеешь такую невзгоду. Не жалею ничего. Что есть в сундуке, в доме, во дворе, заранее меняй на продукты. Будем живы — сызнава наживем, а нет — все без надобности станет.

Мишу с Ниной не обижай, не кричи, не строжься понапрасну, обними и поцелуй за меня».

Всякий раз, когда я доходил до этого места, Устя всхлипывала, глаза наполнялись слезами: «Пишет, тоже, наказывает... Да я что, аль лиходейка какая своим детям? Настенка-то — она вон не родная, в замужестве, а все равно бегаёт: мама, мама... В горячах-то, конечно, всяко бывает, а так я жизни для них не жалею...».

И она действительно не жалела жизни — пласталась. Прилипнув к дальним свойственникам Филиппа, посадила три ведра картошки (больше семян не нашлось). Землю подыскали километрах в пятнадцати от села — место пойменное, заиленное. Между колхозной работой полола ту картошку, поливала ведрами из омута, окучивала, там же чилигу на топку рубила, сенца для коровки-кормилицы где косой, где серпом около воды хватала, а потом все тележкой-двуколкой домой. Туда и обратно — добрых тридцать верст. Но туда порожняком, потому

вместо отдыха... А обратно — все больше ночами, тогда тягости поменьше, глаза потом так не заливают...

В то сухменное лето все людские чаяния прахом пошли: ничего не уродилось. Картошка, как и хлеб, семян не вернула, до величины голубиноного яйца не доросла. А Устя восемнадцать ведер вывернула из той благодатной земли. Каждое ведро мелочи и половинок обернулось шестью ведрами удивительных клубней. Счастье такое, что теперь нам, сытым и во всем благополучным, понять невозможно.

С праздником в душе примчалась Устя к нам с мамакой. «Ты погляди, мамак, какая! Теперь зима отлетай!.. Филю там успокою...» — «Ты чо как оглашенная! — одернула дочь мамака, потому что Устя кричала во дворе, даже калитку за собой прикрыть не успела. — Оглядишь — люди от голода сердцем недобрые, а ты выхваляешься, голошишь на всю ивановскую... Вот, гляди, воровство зачнется, как в двадцать первом годе. Ты ворон-то вот так не лови...»

Мамакины слова оказались прямо пророческими — в начале зимы Устя лишилась своей Зорьки. Разворотили оконце летней пристройки, забрались, открыли внутренние запоры и увели мимо окна, за которым спала с топором наготове Устя. Чтобы за коровой не осталось следов, обули ее в какие-то валяные обноски. «Ведь слыхала, дура, слыхала, а в себя прийти не могла. Вот как навалилось что...» — жаловалась нам Устя, зареванная, опухшая и охрипшая.

Горе так ушибло Устю, что она дня три валялась на холодной нетопленной печи, то ревела в голос с тоскливыми причитаниями («Да как же теперь жить-то, как родных деточек сохранить! И что я теперь своему Филе напишу!»), то вроде глухонемой становилась, безразличной ко всему окружающему, в том числе к зову и плачу родных детей.

Исхудав и постарев, наша Устя встала, принялась поспешно и безучастно топить и убираться, заложила развороченное оконце в пристройке, очистила там земляной пол, нагрела воды и искупала в корыте ребятишек.

А еще через несколько дней Устя заносилась. Казалось, какая-то новая предельная скорость включилась в ней. Она суетно бегала, изредка в толк, а больше без толку хлопотала, просила, прямо чуть не на коленях вымаливала, что-то на что-то меняла. Подобрал спутниц, Устя отправилась за сотню километров в «Кыргизский край» (так у нас тогда почему-то называли Казахстан). Ушла — след простыл. Нет недели, другую... Мамака вся извелась, охает и стонает: «Понесло дуру. Осиротит ребятишек...»

Устя привела телку-полуторницу, а заодно мешок вяленой верблюжатины санками приволокла. Это стоило ей почти всего сундука, в котором и свое приданое хранилось, и то, что было выговорено по кладке, и Филипповы шуба-борчатка, чесанки с новыми калошами.

Устя пришла черная, с обмороженными щеками, донельзя вся остывшая, но довольная. Осевшим до хрипа голосом рассказывала о своих опасеньях и страхах. «Я ведь, мамак, в избе ни одной ночи не ночевала. Все около телки... Прижмусь к ей, дык будто теплее...»

Так Устя перетянула тяжелейший в наших местах тридцать третий год. Нелегко он ей достался, немало сил и здоровья унес, но детей никак не коснулся. Дети были сыты, одеты и обуты. Нинушка во второй класс ходила, а шестилетний Минька, плотный, крепкий и горластый, еще баклушничал.

В тридцать четвертом природа щедро рассчиталась с людьми за прошлые двухлетние тяготы. Наш колхоз каждый трудодень восемью килограммами первосортного зерна оплачивал, огурцы с помидорами, арбузы, дыни и тыквы тоже давали, соломы для скота и топки сколь душа пожелает.

Устя, утраченная голодухой, заготовила всего с немалым заходом на черный день. Сытая и обмякшая душой, она ждала своего Филю...

* * *

Устя трудно выбиралась с заднего сиденья «Запорожца». Машина эта низкая, тесная, всего с двумя дверцами, а нога сестры, когда-то сломанная, плохо сгибается. Вот и корячится, выбираясь, Устя. А Мишка, ее единственный сын, стоит в стороне, папиросой попыхивает.

Василий подошел и помог сестре — принял палку и самой пособил выбраться. Подперев себя палкой, Устя взяла из машины сумочку, стянутую поверху тесемкой.

— Давно не была. — Василий коснулся щекой щеки сестры.

— Нинушка-то посылку прислала. Конфеток, вроде я маленькая. А ты похудел чтой-то? Аль хворашь?

— С ней наговоришь, — Мишка захекал в своей манере.

— И ты, младшенький, тоже не картинка, — сказала сестра, когда мы обнялись. — Насилу признала...

— Пошли, пошли... — Я поддерживал сестру под руку.

— И пряников прислала... Не забывайть... Вот привезла угостить...

Шарик, стоя в раскрытой калитке, неохотно и неопределенно, как-то безадресно погавкивал в сторону машины и приехавших. А потом вдруг сменил гнев на милость — бросился к Усте с лаской. И все поглядывал на ее сумочку.

— Теперь все хитрять да ловчать, даже собаки... — сказала Устя.

Нелегко было сестре одолеть три ступеньки крылечка, но с нашей помощью она их одолела. Села на подставленный мной стул, палку к стене прислонила.

— Я ведь Жукову ровесница, Георгию Константиновичу...

— А мы на кладбище были, — сказал я.

— На базар ходили? Чо эта вы туда?..

— На кладбище, на могилы!.. — закричал я, не жалея горла.

— Чо ты так?.. Я, чай, слышу... — под шипенье и кхеканье Мишки сказала сестра. — Филю-то проведали?

Не дожидаясь моего ответа, Устя сказала:

— Вот в покров тринадцать годков будить... Как хоронили, вся улица сперлась. Желанный к людям был и люди к нему тоже...

— Не тебе чета, — сказал громко Мишка, похоже, насколько не беспокоясь о том, что мать услышит. — Сноху-то живьем ешь...

— Чо эт он? Поди, жалуется, за свою разбойницу в заступ идет?

— Да так... — крикнул я.

— Да не так, вижу, что не так...

— Ты хоть тут-то вел бы себя по-человечески, — сказал Василий и так глянул на племянника, что тот стушевался. А секунды спустя снова начал ерепениться.

— Да она...

Василий снова осадил Мишку.

— Ты совсем не умеешь себя вести. Хуже пакостной бабы...

А я смотрел на Устю и думал о тридцать втором и тридцать третьем годах. После того я сестру не видел, потом в тридцать четвертом уехал учиться, потом кратковременная работа в школе, потом служба в армии, война... Без меня Филипп вернулся со станции «Ерофей Павлович», без меня они, распродав все, уехали сюда, в Киргизию.

Только после войны Устя с Филиппом навестили нас в Сибири. Привезли сундук яблоч. Остановились у Василия, а к нам пришли под вечер. А нам негде и нечем было приветить гостей. Купили выпивки, настряпали пельменей из муки грубого помола.

Придя вчетвером, гости с трудом втиснулись в нашу конуру из семи квадратных метров. Филипп совсем облысел, оплыл, живот заметно свесивался через брючный ремень, но глаза оставались живыми и добрыми. Заметив, что мы с женой до крайности угнетены своей бедностью, Филипп первым протиснулся за стол. А как выпили, он стал есть, на-

хваливая пельмени. Галька кочевряжилась, брезгливо ковыряла вилкой в тарелке, а Филипп убеждал ее, что размол «пользительней» сеянки. «У него только вида нет, а так он пользительней...»

Устя в тот кратковременный приезд оставалась Устей, той, которую я знал в селе. И выговор тот же, только нашему селу присущий («итить», «да будить тебе...»).

А теперь не узнавалась: образ сестры раздвоился — на ту, прежнюю, так памятную, привычную, потому дорогую, и теперешнюю, старую, глухую, слабую, ненавидимую сыном Мишкой, тем самым Мишкой, ради которого она ни сил, ни здоровья не жалела.

И для того чтобы сблизить эти различные образы, я принялся расспрашивать о нашей прежней жизни в селе. И тут открылось поразительное — Устя знала и помнила все до мельчайших подробностей.

— Машу-то Ширину помните? Лычкина она, а по-уличному — Ширина, потому как больно толста была. Такая колода, ужась!..

Василий пожал плечами, дескать, такой «колоды» не знает. Да и откуда было знать ему, если в двадцать шестом он уехал на хутор и в село больше не возвращался. Тут если и знаешь, так забудешь.

— Это она в иордани купалась? — крикнул я.

— Она, она, кто же еще... Грехи смывала!.. — сестра прямо заисяла от того, что я вспомнил, знаю...

— Напротив Быковой школы жила? Помню!.. — Василий закричал как оглашенный. И всем нам, кроме Мишки, стало хорошо, оттого что вспомнили Машу Ширину, которая тем и славилась, что в любой крещенский мороз погружала свои телеса в иордань.

После Маши вспомнили мать ее — Верюту, тоже вдову и тоже не менее популярную.

— У баптистов моление в самом разгаре, а эта самая Верюта врывается: «Усердствуете, праведники, а он вот, поди, больше остальных, старается. — И показывает на Кузьму Никитича Филогина. — А спросите его, за что он с меня целковый содрал. Я, говорит, отдала в надежде, что подвезет до Алгая... А заместо этого семьдесят верст пехом перла да ишшо корову подгоняла. Он — барином в телеге, а я — за коровой... А он содрал, антихрист!..» Вот так расчехвостила! — восклицает Устя с таким восхищением, будто это она сама разделалась со святошей.

— Ну а они, баптисты-то что? — интересуюсь я.

— А чо им? Им крыть нечем. Кузьму Никитича-то вроде паралик хватил, глазами лупает, а слова выдать — сил не хватает. Идиахов Сидор Прокофич бойчее других оказался. Вот тебе, говорит, сестра, два рубля, иди с богом, а поступок брата Кузьмы мы предадим осуждению. Ну, Верюта, конечно, сразу не ушла, она ишшо там пошумела, побудоражила их.

Устя берет со стола свою сумочку, развязывает и достает несколько шоколадных конфет.

— Нина больно нахваливает, московские и ленинградские... Пишет — с одного захода добыть не могла... Вот они детки-то!.. Одна конфетками родительские заботы и труд оплачивает, а другой — матюками...

— Ну и поезжай к своей Нинке хорошей! — заорал Мишка, поднимаясь со стула. — Чего прилипла?..

— А я вовсе не прилипла. Эт вы ко мне прилипли. А я — в своем доме, вместе с мужем нажитом...

— Вот видишь, дядь Степ?.. Дом, дом — осточертело!.. Заплачу я тебе за твой дом!

— Как не так — разгонишься!.. Ты вон пенсию вытрясаешь, несчастную двадцатку выколачиваешь... Государство мне их — за Филю, а ты терсучишь. Тебе «Москвич» нужон, а на мать плевать... Другие-то вон как матерями дорожат.

— У других и матери не такие! — заорал Мишка.

— У доброго сына — мать добрая, плохой никогда не будет. Это у таких, как ты, плохие...

Мне все больше и больше становилось не по себе. Я как-то не представлял даже, что такое вообще возможно, чтобы сын так «честил» мать, а мать, обороняясь, не щадила самолюбия сына. А тут оказалось, что не «вообще», а свои, близкие, сестра в непримиримой схватке с сыном, единственным и ненаглядным Мишкой, тем сопляком, с которым мы вместе катались с крыши сарая на санках и которого я втихомолку учил курить махорку...

От душевной боли и боязни поссориться с Мишкой я ушел в сад, сел там около дров на пень, закурил. Затянусь, а в левом виске меж тем тикает: тик, тик — будто часы.

Откуда-то со стороны соседского сада вынырнул Шарик, подбежал, уставился снизу в мои глаза: что, мол, с тобой.

— Где шляется? — спросил я больше, пожалуй, из желания отвлечься.

Шарик вдруг бросился донимать меня ласками. Я всячески отмахивался, а от дома тем временем послышался громкий и грубый, на мужской лад, голос Гальки:

— Совести-то совсем не осталось, ни грамма. Надо же, до чего докатился!.. Зинка водит тебя, как телка на веревочке. Дядя-то что подумает?..

— А чо мне!.. Я фронтовик! Я кровь проливал, искалеченный!..

Оказывается, он может доходить до истерики.

— Перестань выламываться! — крикнула Галька.

— Другие войну тоже не в санатории провели, — Василий сказал вразумительно, нисколько не повышая голоса.

— Поезжай к своей ненаглядной, — сказала Галька, — любуйся там ей, а мать ночует у нас.

Когда Мишка вышел во двор, Шарик ни с того ни с сего бросился его облаивать.

— Пошел ты!.. Будет тут всякая пакость!..

— Молодец! Ты с понятием... — сказал я Шарiku, когда он с довольным видом вернулся ко мне.

Устя сидела и плакала, промокая платочком глаза.

— Видал, брат, в какой я чести?..

— А почему не уедешь к Нинке?

— Чо ты сказал? Не уеду почему? А дом, дом-то куда?.. Переписать — больно жирно ему будет. Да и Нинушка в обиде останется. Продать — ему жить негде. Да и пропадут они без меня. Он вот орет, а не соображает того, что без меня им хода нет. Они встали и ушли на работу, а я — по дому, в огороде... Цыпят каждую весну берут... У них — все без заботушки...

* * *

За чаем Устя отошла, оттаяла, и я снова повернул разговор в прошлое — спросил, почему они с Филиппом Алексеевичем уехали из села. В колхозе остаться разве не предлагали?

— Как не оставлять? Еще как оставляли! Он как пришел — Юшка Замараев тут как тут. В тарантасе лессорном прикатил. Давай, говорит, Алексеевич, сызнова к нам. Для начала — бригадиром, хочешь — полеводческим, а то можно огородным или бакшевным. Это, говорит, для первости, а там поглядим... А сам-то сидит и — ни слова. Юшка сызнова сватает, сулит чуть не золотые горы, а Филя сидит, глядит на него и молчит. Тут я встряла: не видишь, что ли, как человек старается, ответь ему. Тогда Филя встал и ответил. Вот как сейчас помню, как он ему ответил: «В тех далеких и холодных краях работы непоча-

тый край, но я по вашей милости, Ефим Тимофеевич, так наработался, что больше охоты нет... Вот и весь мой сказ!..» А когда Юшка уехал, я стала допытываться, почему он молчал. Язык, что ли, говорю, отнялся? Потому, говорит, молчал, что хотел разглядеть в Юшке совесть, но так и не разглядел. Ведь протокол-то был тогда, но Юшка похерил его. Как туго пришлось, так он и похерил. Мне об этом Никита Ермилов туда прописал...

— Снова вскипел чайник, и Василий заставил меня заварить зеленый чай.

— Давай, у тебя хорошо получается...

До Усти долго доходило. А как дошло, она сказала:

— Дом Кузмицких — там такая махина! Больше его в селе не было. Ты его помнишь аль нет? — обратилась ко мне Устя. — Ну как на средний мост ехать — с правой стороны?..

— Пустырь помню, а на другом лугу — мазанка...

— Мазанка это Копаевых. Они и сейчас там, говорят... Старик умерли, Митрий погиб на войне, а Сергей там механиком... А Митрий-то уж в Берлине погиб. Сутки всего оставалось...

— Ты про дом начала, — напоминаю я сестре.

— Какого начала? До замирения...

— А с домом Кузмицких что?

— С домом-то? Так сломали его. На дрова сломали.

Василий смотрит на меня, я — на Василия. У брата в глазах недоумение, а я в ответ пожимаю плечами.

— Не путаешь? — кричит сестре Василий. — Зачем ломать?

— На дрова... Эт уж потом остепенились, а сначала хряпали почему зря... Раз богатеи — значит не нужно, с корнями его!..

— Я спрашивал тебя про Лесю, а ты куда-то в сторону...

Я, кажется, перехватил в крике. Сестра обиделась.

— Чо ты как оглашенный... Я тоже про Лесю... Иду как-то, а ему как раз дрова сваливают. Бревна смолистые, звенять... А Леся выскочил раздевкой и недовольтвует: «Это почему ж так получается? А надьсь и теперь вот всем — крашенные, а мне — нет?.. Что же это за порядки такие?..» А сваливал-то Лизар Шапкарин, мужик ужасть какой хитрый и ехидный. «Эт ты по справедливости... — соглашается Лизар. — На твоём месте, Алексей Федорович, я не токмо здесь, но и в сельсовет пошел бы...» — «А я и пойду, думаешь, остерегусь? Я скажу!..»

Василий так и соскочил с места.

— Правда, что ли?.. — И от удивления крутнул головой, полез за сигаретами, но пачка оказалась на столе — он попросил у меня.

— А зачем ей придумывать? Да и не сможет...

— Да нет, это просто!.. Ну, черт знает!..

Устя, попеременно поглядывая на нас, пыталась догадаться, о чем мы разговариваем. И ведь как-то догадалась.

— Советская власть — она с самого изначала старалась бедноту в люди вывести. Карпухины-то — извечная голь перекатная, сколь жили, столь и бедствовали. А Ванюшка их в гражданскую разведкой командовал, самого Серова чуть не снапал. Тот с денщиком уснул на омете, Ванюшка и накрыл... Серов-то прямо с омета да на лошадь упал. А денщика-татарчонка пристрелил в наказание за то, что уснул.

Устя замолчала, похоже, потеряла нить разговора. Я хотел подсказать, но она сама вспомнила, что рассказ ее о Ванюшке Карпухине.

— Он после войны пошел как по лестнице. В Саратове учился и работал, а потом в Москву взяли. На побывку приедет — подойти робостно, даром что вместе росли, чуть не шабрами были.

— А Лесю-то не учили, что ли? — спросил я лишь потому, что о Лесином учении слышал что-то анекдотическое, а что — вспомнить в подробностях не мог.

— Да как не учили? Он сколь зим ликбез навещал. Учительница с ним уважительно, по батюшке, а как спросит — Алексей Федорович ни в зуб ногой. Встанет и неприметно шабра ногой толкает, чтобы тот подсказывал. А шабром-то оказался Тимошка Овчинников, паренка бойкий, смекалистый. Вот учительница написала что-то на доске и обращается к Лесе, чтоб прочитал. А Леся — сызнова к Тимошке, а тому, видать, вконец надоело, а может, подучил кто, но только он шепнул: «Век живи, век учись — дураком умрешь». Ну, Леся громогласно бахнул... Смеху, сказывали, хватало. Учительница тоже смеялась. А Леся потом на Тимошку с учительницей жаловался в сельсовет. Эт они, говорит, поговору, для подрыву народной власти.

— Ну, это брехня! — решил Василий.

— Чо? — не расслышала Устя.

— Говорит, что враки, — сказал я, будто перевел с иностранного.

— Может, и добавили, не без того, — спокойно согласилась Устя. — На выдумки и приукраски у нас все горазды были. Филя, покойник, тоже любил... Как-то в самое половодье приходит из села. Ну, говорит, мать, там все с ума посходили. Селянку прорвало, по степи вола хлынула. А рыбы, сказывают, ужась что! Чуть не саженные шуки и сазаны в бурьяне путаются... Люди бегут сломя голову. А кто — верхи. Чупахины ребята все трое поскакали, мешками махают... Сенька Косоруков, Молотченковы — все вдогон. Дед Девяткин — и то поковылял.

Устя, сухая, ветхая, все-таки никак не совмещающаяся в моем сознании с прежней, тихо и долго смеется. Смеется до слез, которые снимает с лица ребром ладони. Чистый, отглаженный и аккуратно свернутый платочек держит в левой руке, а правой снимает слезы.

— Ну, я — знамое дело, напустилась...

Я улыбаюсь от того, что очень хорошо представляю, как сестра напускалась. В таких случаях весь небольшой выселок, называемый Зеленым клином, слушал в подробностях эти уроки морали. Слушали и с улыбкой говорили между собой: «Ну, Устюша опять разошлась...»

— Почему же ты, говорю, с ноги на ногу переваливаешься? — продолжала рассказ Устя. — Выводи скорейча Гнедуху, а я мешок вынесу. Выбрала какой побольше мешок, выношу, а он с шабрами через забор преспокойно калякает. Ну, и тут совсем разошлась, тюфяком его обозвала.

Когда дошла очередь до сна, я сказал, что лягу в саду, благо, раскладушка уже стоит под яблоней.

— Это Володькино место. Он завсегда там... — сказала Галька.

А Устя, как только дошел до нее смысл моего намерения, сказала, что там свежо, можно остудиться. Да и как одному-то?

— Не одному, а с собаками! — крикнул я.

— Они спать не дадут. — сказал Василий. — Поднимут лай. Найда — она на кошек ужас как брешет.

Но я все-таки настоял на своем.

Уступив Усте место в комнате, я с подушкой и одеялом отправился в сад.

После яркого света на веранде в саду я с первых шагов чуть не завалился в арык, потом, ища раскладушку, наткнулся с ношей на деревья. Ощущение было таким, что у меня завязаны глаза.

И вдруг — озарение. Гляжу — в самой вершине высокой яблони — свет. Лампочки не видно, она скрыта листвой, но оттуда, из-под листьев, струится свет, создавая в саду неверные причудливые тени.

— Почему путаешься впотьмах?

— Откуда я знал, что можно включить?..

Брат привел из глубины сада Найду. Пока вел, она, звеня цепью, то бросалась с лаской к хозяину, то шарахалась в сторону.

— Ну, хватит, хватит... Кому говорю?.. Я ее поближе, чтобы

обезопасить себя со стороны твоей Яковлевны. Случись что с тобой — мне ответ держать.

— Это еще как сказать... — неопределенно протянул я.

Брат сел ко мне на раскладушку, попросил сигарету.

Ночь неспешно, но верно напITYвалась прохладой и тишиной.

— Устя легла? — поинтересовался я.

— С Галькой в дурака режется.

— Она что, может?

— О-о! Еще как!.. Ее не так просто оставить... А как останется — сердится... Но Галька с ней — без скидки, даже мухлюет...

— Ты, когда к нам заезжал, не курил, кажется.

— Не курил. Четыре года не брал... А потом... Из-за моей баламутки... К ней ведь ничего не пристаёт. Как бронированная — ни пробоин, ни вмятин... А я вот закурил.

— Все-таки не надо было.

— Раскладывать по полочкам — проще всего. Надо — на одну, не надо — на другую... — Брат оживился, похоже, от неожиданной мысли. — А надо и не надо — понятия-то ведь не постоянные.

— Как? — не понял я.

— Да так... — сказал брат. — С одной полочки на другую перемещаются...

Он помолчал и спросил:

— «Время жить и время умирать» — это откуда? Запало в голову, а вспомнить не могу. Роман, что ли, так называется?

— Да, роман Ремарка.

— Время жить и время умирать... Надо зайти в библиотеку.

— Скажут, что на руках...

— Девушки знают меня, отложат...

— А что там у Усти с Мишкой? Я сразу не понял...

— Там сразу-то и не поймешь. Все сплелось, перепугалось. Устя — одно, Мишка с Зинкой — совсем иное... Устя всю жизнь была хозяйкой. И теперь она не может без того. Лезет куда следует и не следует, командует, поучает. Ну а что такое Мишка — ты, наверное, понял?

— Кажется, понял.

— А его Зинка вовсе обух. У них задача номер один — «Москвич», номер два — приданое дочерям: ковры, постели и всякая иная дребедень. В кино не бывают, книги и телевизор — больше для видимости и как снотворное...

— Новая форма мешанства.

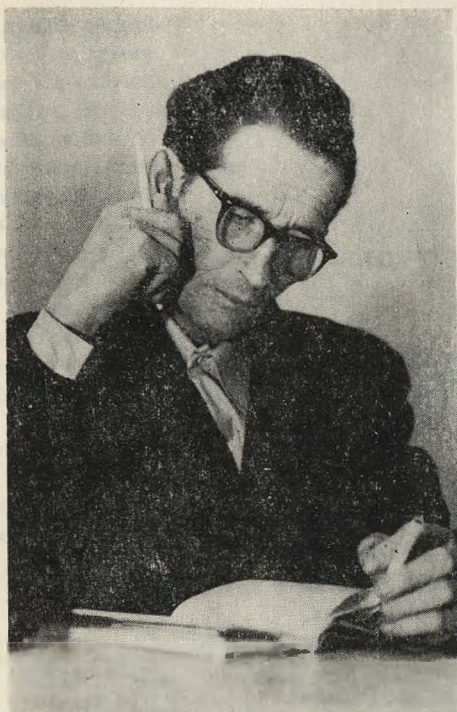
— У старухи пропадают из сундука какие-то тряпки, какие-то там пятерки, тройки...

— Тыфу, как противно! — возмутился я.

— Там до рукоприкладства доходит.

— Ты говорил с ними?

— Не один раз... И добром, и грозился сообщить на их производство, в райисполком — все без толка...



ПРИЗВАНИЕ

К 70-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В. А. ГЕРДТА

«Когда говорят о поэзии, я испытываю такое чувство, как будто говорят о жизни моей», — так сказал на творческом семинаре в Москве поэт Владимир (Вольдемар) Александрович Гердт. И это не рисовка, не поза. Писатель имеет право так говорить. Он действительно живет поэзией. Каждое его творение выстрадано, в него вложено все: эмоции, мысль, жизненная правда, мастерство и большой труд.

Чтобы понять созданное Гердтом за многие годы творчества, следует познакомиться с «университетами», которые он прошел на жизненном пути. Родился Владимир Александрович в 1917 году в селе Зельман (ныне Ровное) Саратовской губернии. После окончания школы и Маркштадтского педагогического техникума он становится сельским учителем и активистом. В эти годы публикует свои первые стихи и рассказы в молодежной печати г. Энгельса. Во время Великой Отечественной войны и после работает лесорубом, буровым мастером на Севере, в Ханты-Мансийском национальном округе.

В 1962 году переезжает на Алтай, работает корреспондентом славгородской газеты «Роте Фане». И, конечно же, пишет стихи, прозу, а также литературно-критические эссе. Ведущей темой писателя является любовь к Родине.

Я теперь понимаю,
что в жизни везло:
руки мамы давали
мне в детстве тепло.
Согревал меня щедро
семейный очаг,

но отчетливо я
понимаю сейчас,
что счастливою
жизнь бы моя не была,
если б Родина мне
не давала тепла.

Патриотизм, интернационализм поэта отражены в таких стихах, как «Дружба народов», «У костра», «В мансийском крае» и в мастерски сделанных переводах с русского, украинского, казахского, алтайского...

За тридцать лет литературного труда В. А. Гердт написал около 600 стихотворений, множество рассказов, басен, эссе. Его перу принадлежат пять книг. Произведения писателя публикуются в газетах «Нойес Лебен» (издание «Правды»), «Фройншафт», «Роте Фане», в альманахах «Родные просторы», «Алтай» и других изданиях.

К своему семидесятилетию писатель В. А. Гердт пришел с новыми творческими планами. Он полон энтузиазма и желания работать в семье нашей многонациональной советской литературы.

Эвальд КАЦЕНШТЕЙН

Вольдемар ГЕРДТ

„ПОРА МАЛЬЧИШЕСТВА БЫЛА...“

УТЕШЕНИЕ

Когда, людским злословьем оскорбленный,
Бываю сам жестокосерден я,
Пойду к спокойной рощице зеленой,
Склонюсь у быстротечного ручья.

И сердце потихонечку оттаает...
Природа-мать
 всесильна и мудра.

Она сама все злое отмечает
Во имя бесконечного добра.

Месяц над нами
За веткой притих.
Месяц лишь знает
О тайне двоих.
Облако вышло —
И месяца нет.
Кто нас услышит
В глухой тишине!
Кто нас увидит!
И вдруг...
 да не вдруг —
Глазом совиным
Засветился сук.

УТРО

Вспыхнуло утро...
Высокий зенит,
Как колокольчик валдайский, звенит.
Утро работает,

 утро живет:
Лодкой рыбацкой по плесу плывет,
Крякает уткой

 в густом камыше...
Так хорошо, так светло на душе!

Утро нагринуло...

День впереди...

День впереди —
 защемило в груди:

Меньше и меньше
 становится дней,

Вот и люблю их
 сильней и сильней.

ТАЙНА

В заводи сонной
Чуть слышная зыбь.
Смолкла в осоке
Горластая выпь.

ГОСТЕПРИИМНАЯ ИЗБУШКА

Страдая от зноя,
Страдая от жажды,
Лесную избушку
Нашел я однажды.
Подернулись мохом
Кривые углы,
Трухлявая крыша
И стены гнилы.
Над речкой прохладной
Склонилась избушка,
Склонилась, погорбилась,
Словно старушка.
Однако была в ней
Секретная сила:
Избушка приветно
Мне дверь отворила,
Водой напоила,
К столу позвала,
Топчан предложила —
Усталость сняла.
Теперь я частенько
Сюда захожу.

И думаю проще,
И глубже гляжу.
Мне эта избушка
Дороже дворцов:
Не знает она,
Что такое засов,
Не видела сроду
Замка над дверьми...
Сорвать бы, убрать бы
Замки,
 черт возьми!
Ведь гостеприимство
Вернее замка.
Жизнь так быстротечна
И так коротка,
Что хочется каждого
В мире обнять...
Зачем же замками
Себя обеднять!

* * *

Пора мальчишества была
(Была да миновала),
В ту пору нас мечта звала,
Мечта торжествовала.
Мы через синее стекло
В грядущее смотрели.
Меж тем губительно и зло
Тона коричневели.
Подкрался черный тон войны,
Все на земле поблекло...
И — снова смотрят пацаны
Сквозь радужные стекла.
Все повторяется. И нам
За детство быть в ответе,
Чтобы губительным тонам
Не вспыхнуть на планете.

*Перевел с немецкого
В. НЕЧУНАЕВ*

ЧЕРСТВОВОЕ СЛОВО

Нет, не первым ты его придумал —
Встретилось в одном из словарей.
Ну, а в гневе
Выплеснул угрюмо,
Чтоб жену обидеть поострей...

Сам теперь страдаешь, безутешный,
Мир постыл и мелок, словно грош...
Не закроешь рану
Словом нежным
И доверье милой
Не вернешь.

ДОБРОТА

Какая доброте цена!
Бесплатно же берем!
Но дорога душе она
В наличии любом.

Она качает колыбель
И песни нам поет,
Сквозь годы счастья и потерь
По жизни нас ведет.

Когда под снегом,
Под дождем,
Как камень, сердце спит,
Она тебя радушно в дом
Согреться пригласит.

У очага ее, всяк час,
Отрадно всем присесть,
Поскольку каждому из нас
Свою окажет честь.

Ты ею не пренебрегай,
А лучше тем умножь,
Как хлеб и соль, ее раздай
И счастье в том найдешь.

*Перевел с немецкого
В. СОКОЛОВ*

Борис ЮДАЛЕВИЧ

ЭМБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ)

Многие буржуазные ученые утверждают, что в условиях НТР искусство дегуманизируется; они стремятся прагматически сблизить искусство с достижениями науки, свести его функции к популяризации точных знаний, механическому повторению научно-исследовательских приемов и методов. Это, кстати, противоречит высказываниям многих корифеев мировой науки XX в. — А. Эйнштейна, В. И. Вернадского, А. Швейцера, Б. Рассела и др., подчеркивавших особую роль искусства и подчас необоснованную амбициозность точного познания. Так, Н. Бор говорил: «Причина, почему искусство может нас обогатить, заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недостижимых для системного анализа»¹. Та же мысль сквозит и в известном высказывании Эйнштейна о том, что Достоевский повлиял на него больше, чем Гаусс.

Конкретный анализ явлений литературного процесса, рожденного компьютерным веком, проходил весьма сложно и не без издержек на пути поиска. На первых порах некоторые исследователи ограничивали влияние НТР на прозу, поэзию, драматургию. Им казались бесспорно относящимися к этой теме лишь те произведения, где «крупным планом» воссоздается мир ученых или конфликтные столкновения, борьба за технический прогресс в производственных коллективах. Не случайно в центре многочисленных статей и дискуссий 70-х годов стала пьеса И. Дворецкого «Человек со стороны», а имя ее героя, Чешкова, быстро сделалось нарицательным.

Об этом герое высказывались самые разноречивые мнения. Ряд критиков, да и зрителей, справедливо увидели в Чешкове типичного деятеля эпохи НТР, сформированного, по словам Л. Аннинского, «ее духом и потребностями». Человек со стороны оказался прежде всего человеком дела, которому он не только самозабвенно служил, но которое упорно, революционно двигал вперед. На его вооружении была передовая техническая мысль, высокий профессиона-

лизм, точность расчетов, непримиримость к консерватизму, расплывчатости, безответственности, коллективному застою. Чешков стремился и умел говорить на инженерном языке.

Однако новый герой-технарь по своей человеческой сути все же несколько разочаровывал. Ему явно не хватало гармонии, философской натуры. Его бескомпромиссность подчас оборачивалась безжалостностью и душевной неуклюжестью, деловитостью и суховатостью — резкостью и элементарной нечуткостью. Словом, герой НТР оказался обедненным и одномерным. Точнее других об этом сказал Ф. Кузнецов: «Требования научно-технического прогресса как одной из характерных особенностей этой эпохи, конечно же, наложили на этот характер резкую печать. И тем не менее сводить его только к борьбе с научно-техническим консерватизмом ради технологической реорганизации производства вряд ли правильно. В жизни этот характер неизмеримо более объем и многопланов, и борьба с научно-техническим консерватизмом для него не самоцель, но одно из возможных проявлений служения общественным, гражданским, нравственным идеалам»¹.

Критические споры о литературе эпохи НТР велись и о других произведениях подобного плана. В драматургии это были «Сталевары» Г. Бокарева, «День приезда — день отъезда» В. Черных, «Премия» и «Обратная связь» А. Гельмана, «Автоград XXI» М. Захарова и Ю. Визбора; в прозе в первую очередь речь шла о липатовском директоре Прончатове, о героях романа «Изотопы для Алтунина» М. Колесникова, «Территория» О. Куваева, «С точки зрения вечности» П. Загребельного, о повестях и рассказах Д. Гранина, не раз упоминался и роман «Яконур» новосибирского прозаика Д. Константиновского, автора ряда произведений о сибирских ученых.

Поначалу этот критический поиск был естественным и плодотворным. Поскольку фундаментом литературы научно-технической революции справедливо явилось вос-

¹ Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961, с. 111.

¹ Кузнецов Ф. За все в ответе. М., 1984, с. 501—502.

создание современного производства, союза науки с практикой, показ не только трудовых процессов, но, главное, отношения человека к труду, влияния созидательного творчества на микроклимат в коллективе, на нравственные и социальные критерии. В лучших произведениях «производственной» темы всегда ощущалось стремление слить человека и его дело в неразрывное целое. Даровитые мастера запечатлевали не только штрихи НТР, но прежде всего диалектику души человека, охваченного мечтой о кардинально новой технико-экономической стратегии. И все же произведения «производственной» темы, как бы ни были они значительны, не могут охватить все многообразие явлений НТР. Более того, иногда происходит подмена понятий. Как точно заметил критик Б. Анашенков, «автоматизация и кибернетизация — стержень научно-технической революции, но написать роман о внедрении автоматических линий или электронных систем управления производством еще не значит «выйти на тему НТР». Принципиального различия между таким романом и популярными некогда произведениями о борьбе новаторов за новые резцы или скоростные плавки нет — смена вывесок сама по себе его не гарантирует»¹.

Понадобилось определенное время, чтобы наша литература, да и критика, почувствовала, что тема НТР гораздо шире ранее обозначенных горизонтов.

И действительно, Сибирь с ее строительными площадками, рудным, нефтяным, газовым богатством, с ее энергетикой, Братском, Дивногорском, новыми железнодорожными трассами (в их числе БАМ), с ее молодыми, растущими промышленными комплексами и научными центрами вошла в многочисленные произведения писателей-сибиряков. Темой ряда значительных очерков, повестей, романов сделалась также и аграрная Сибирь с добрыми переменами, которые в ней происходили под влиянием научно-технического прогресса. И так же, как в общесоюзной, в литературе Сибири обозначились разнообразные, лежащие отнюдь не на поверхности, процессы проникновения НТР в бытие и быт, ритмы города и села, в семью, «частную» жизнь. Но по мере того как наша литература (и, естественно, вместе с ней и сибирская) осваивала эту трудную тему, происходило то, о чем точно сказал П. Загребельный: «НТР после первых восторгов принесла нам массу проблем. Появились трения и напряжения, выявились опасности, литература не могла не откликнуться на это, она рвалась на защиту окружающей среды, исторических и культурных ценностей, на защиту человека от него самого»².

Сибирская критика, несмотря на то, что регион находился как бы в эпицентре НТР, подобно общесоюзной, прошла тот же сложный путь. Поначалу она обратилась к «производственной» прозе, проблеме «че-

ловек и его дело», к личности творца современного технического прогресса. Как известно, в сегодняшнем преобразовании Сибири огромную роль сыграла молодежь, прошедшая здесь школу мужания, «университеты» жизни. Примечательно, что этот процесс прирастания Сибири молодыми и воссоздан их сверстниками-писателями, многие из которых сейчас стали широко известными мастерами. Из их ранних произведений и выросло уникальное издание — «Молодая проза Сибири», пятьдесят томов романов, повестей, рассказов и очерков. Эту разнообразную прозу объединяет стремление раскрыть перед широким читателем красоту и созидательную мощь трудовой Сибири, показать становление характера двадцатилетнего героя на переднем крае.

Небольшие по объему томики «походной» библиотеки, которые мыслились неизменными спутниками у негаснущих костров, на таежных стройках, в необжитых поселках, закономерно стали объектом пристального внимания сибирских критиков.

Наиболее обобщающей, подводящей определенные итоги проблемного характера, а также художественных достижений, явилась статья В. Шапошникова «Уроки молодой прозы Сибири», опубликованная на страницах «Сибирских огней» и впоследствии вошедшая в его первый литературно-критический сборник «Продолжение знакомства». Акцент критики сделан все на той же «производственной» теме, которая в Сибири представлена самыми различными профессиями: от строителя мощного Западно-Сибирского металлургического комбината до таежного охотоведа алтайской деревни. В поле зрения критика романы Г. Немченко «Здравствуй, Галочкин!», Г. Емельянова «Берег правый», В. Орлова «Солнечный арбуз», повести В. Чивилихина «Елки-маталки» и «Про Клаву Иванову», А. Приставкина «Сибирские повести», В. Мазаева «Разомкнутая цепь», И. Кудинова «Покушение», В. Воробьева «Боцман с Чукотки», А. Скалона «Живые деньги», рассказы и очерки из сборников «Будни романтиков» и «Трудная трасса» и др. Конечно в статье, посвященной молодой прозе Сибири, В. Шапошников этот термин не употребляет. Между тем в центральных изданиях все более настойчиво говорят о связи литературы с революционным развитием индустриального и аграрного производства, о решающем влиянии научного фактора. К примеру, Б. Анашенков статью «О человеке дела», его «духовном потенциале» (тема, почти совпадающая с темой сибирского критика) начинает словами: «Рубрика «Научно-техническая революция — литература» вот уже много лет не сходит с газетных и журнальных полос. Этой проблеме посвящены многочисленные «круглые столы», семинары, совещания»¹.

В данном случае можно констатировать отставание «местной» журнальной критики от столичной. Но при сегодняшней дина-

¹ Анашенков Б. Горизонты темы. М., 1980, с. 201.

² Загребельный П. Размышления о трудностях труднейшей из тем. Вопросы литературы. 1980, № 9.

¹ Анашенков Б. О «человеке дела», его «духовном потенциале». Вопросы литературы, 1974, № 10.

мичной структуре эстетической мысли ни в коем случае нельзя возводить это частное явление в абсолютное. (Разумеется, есть и противоположные факты, когда «периферийные» критики выдвигают положения, которые позднее обогащают критическую мысль, входят в ее арсенал.) Если возвратиться к нашей параллели: В. Шапошников — Б. Анашенков, то следует отметить, что, обращаясь к теме НТР, московский исследователь, крупно поставив проблему, к сожалению, также не вышел за пределы «производственной темы». Как мы ранее отмечали, это была общая тенденция тех лет, это были азы в подходе к проблеме НТР — общество — человек.

Но примечательно и другое: не пользуясь в данной статье термином «НТР», В. Шапошников вольно или невольно оттеняет ее приметы. Анализируя роман «Здравствуй, Галочкин», критик делает акцент на таких особенностях, как микроклимат в рабочей бригаде — частице многотысячного коллектива, усиление влияния технических поисков на личность, характер, мировоззрение. Автор критического исследования видит ценность романа прежде всего в закономерности «внутреннего перерождения героя, превращения его из обыкновенного работника в настоящего рабочего творца, создателя». Сам по себе этот тезис не нов: достаточно вспомнить, что еще на Первом съезде Союза писателей СССР, от которого нас отделяет более полувека, А. М. Горький призывал: «Основным героем наших книг мы должны избрать труд, то есть человека, организуемого процессами труда».

Но, к сожалению, этот горьковский завет, основанный на первых плодотворных опытах молодой советской литературы, порой трактовался примитивно или вообще предавался забвению. О чем свидетельствует и «теория бесконфликтности», и конструирование «идеального героя», и возведение критикой произведений рабочей темы отнюдь не высокого художественного уровня.

И все же именно горьковская традиция помогла нашей критике верно и плодотворно оценить глубокий смысл «производственной» прозы 70-х годов, ее лидирующую роль в определенном моменте литературного процесса, ее место в смене направлений и течений.

И статья В. Шапошникова «Уроки молодой прозы Сибири» в этом плане всецело в русле поисков общесоюзной критической мысли. Даже когда критик анализировал произведения, вышедшие, что называется, из одного «гнезда», посвященные сибирскому металлургическому комбинату, с персонажами почти идентичной биографии, он отдает предпочтение тому из них, где производственные конфликты подчинены основному — диалектике души героев. Вот почему роман Г. Емельянова «Берег правый», на взгляд исследователя, не выдерживает сравнения с повествованием о бригадире Галочкине. И нельзя не согласиться с В. Шапошниковым: цельный, самобытный характер «тут не лепится, потому что автор все спешит вперед, торопится захватить в русле повествования как мож-

но больше событий и фактов. В итоге это стремление к всеохватности, к многоплановости оборачивается у Емельянова разбросанностью и эскизностью».

Резкое суждение автора статьи о молодой прозе Сибири вызывает и ставший банальностью литературный прием, который позволяет скоропалительно раскрыть характер героя через ЧП. Критик убедительно на многих примерах (повести А. Лиханова «Дни в конце мая», И. Кудинова «Покушение», В. Мазаева «Разомкнутая цепь», Н. Рыжих «Макук» и др.) выявил тенденцию, при которой стихийное бедствие, авария на производстве и другие чрезвычайные происшествия становятся атрибутами литературного конвейера.

Обзор серийного издания молодых авторов представляет немалую сложность для критика, так как ее отличает разнообразие тематики, жанров, стиливого поиска. Но В. Шапошников сумел создать определенный «сюжет» в своем критическом обзоре, одну из глав которого он называет «Человек, природа, земля», и мысли критика о произведениях В. Чивилихина «Елки-молотки», Ю. Шесталова «Синий ветер каслания», В. Потанина «Слышит земля», Е. Гущина «Правая сторона» не потеряли и по сей день своей злободневности: нарастающие издержки индустриального прогресса вызывают всеобщую обеспокоенность.

Примечательно, что в сегодняшнем разговоре о «таежных живодерах» критика с тревогой отмечает, что они в своих варварских целях используют современную технику. Разговор этот начал и В. Шапошников, обращаясь к повестям Ю. Сбитнева «Вне закона» и А. Скалопа «Живые деньги», с ее анатомией «легального» браконьера, действующего под маркой сезонного охотника.

Статья «Уроки молодой прозы Сибири» явилась для В. Шапошникова серьезным подступом к осмыслению темы НТР, получившей воплощение в ряде его последующих критических работ: «Государственные люди», «Секреты производства и «тайны» производственной прозы», «Парадоксы НТР и проблемы человеческого бытия».

Само удачно найденное название статьи «Государственные люди» высветливает мысль автора о том, что эпоха НТР — время гражданственных устремлений, время государственно мыслящих людей, выдвигаемых из самых разных социальных групп, слоев общества. По мнению критика, участие таких людей в решении важнейших народно-хозяйственных задач является знаменем времени, «потребностью души».

Говоря о «государственном» облике, поведении, взглядах героев эпохи научно-технической революции, о больших проблемах века НТР, В. Шапошников выделяет повесть Г. Немченко «Скрытая работа», где, пожалуй, впервые воссоздано столкновение героя, наделенного обостренной личной ответственностью, с коллективной безответственностью. Примечательно и другое: произведения подобного плана зачастую еще совсем недавно оставались в тени, не привлекая, естественно, в силу своей острой

злободневности, конъюнктурную критику. Слишком привыкли мы к тому, что коллектив — это сила, он всегда прав, а его мнение безошибочно выражает передовые настроения масс. Но оказалось, что есть немало строительных трестов и комбинатов, заводов, колхозов, различных предприятий и учреждений, в которых процветали бесхозяйственность, разгильдяйство, приписки, шла «скрытая работа» и действовала «двойная бухгалтерия». Вряд ли такой коллектив можно назвать благополучным. Г. Немченко написал об этом задолго до многочисленных фельетонов и судебных очерков, печально базировавшихся на конкретных фактах и разоблачениях. Герой его повести, некто Травушкин, по характеру вроде бы полностью соответствует своей «ласковой» фамилии. Тихий, интеллигентный, благообразный старичок. Но этот опытный куратор по строительству (есть такая ревизорская должность) становится грозой халтурщиков, очковтирателей, беспринципных и нерадивых делегов, бездумных исполнителей.

К сожалению, Травушкину не удалось одолеть печальных традиций мастеров «скрытой работы», ему пришлось уйти с тогдашней типичной для «смутьянов» формулировкой — «по собственному желанию». Однако след его надолго остался даже в таком развращенном бесхозяйственностью и нравственным попустительством коллективе. И критик справедливо подчеркивает, что большой заслугой автора стал показ этой «пирровой победы», так как в «стане победителей» появились колеблющиеся, недовольные «спихотехникой», а кое-кого эта история даже заставила крепко задуматься.

Свежий взгляд, острота и прямота, с какой писатель ставит проблемы, «знаменующие собой очередной этап научно-технической революции», делает повесть «Скрытая работа», по мнению В. Шапошникова, глубоко новаторским произведением, нужным и заметным в литературном процессе 70-х годов. Примечательно, что, говоря о новаторском подходе к теме НТР, критик особо выделяет прямую связь между негативными явлениями на стройке и духовным вакуумом, в котором пребывают молодые специалисты, некоторые из них — недавние выпускники технических вузов.

Между тем, как справедливо отмечает критик, в условиях сложного сегодняшнего производства работать добросовестно, честно, а главное, надежно может «лишь человек духовно зрелый, высококультурный, сознательный». Словом, государственный человек.

Рассматривая различные аспекты НТР в производственной прозе 70-х годов, В. Шапошников обнаруживает в журнальном потоке многочисленных повестей и романов произведение, ярко отражающее, по мнению критика, «один из парадоксов научно-технической революции, одно из ее глубинных противоречий». Речь идет о повести Л. Фролова под примечательным названием «Грузчики». С одной стороны, такая профессия в век технического прогресса должна стать анахронизмом, с другой — мы видим, к сожалению, что спрос на «жи-

вую мускулатуру» подчас, напротив, возрастает. Действительно, парадокс. Кстати, об этом парадоксе, изурительном монотонном труде малоквалифицированных разнорабочих, убедительно говорил Д. Гранин в докладе «Личность. НТР. Литература» на выездном секретариате правления Союза писателей РСФСР, проходившем в мае 1978 г. в новосибирском Академгородке. Автор, повествуя о грузчиках, не скрывает «изнанки» грубой физической работы, но как раз эта специфика тяжелой примитивной профессии заставляет ее носителей объединиться, сосредоточить усилия, быть готовыми прийти друг другу на выручку. «Так в повести Л. Фролова, — утверждает критик, — возникает хорошая предпосылка для исследования интереснейшей проблемы — проблемы рождения рабочего коллектива, где люди именно в процессе работы «притираются» друг к другу, «шлифуют» свои характеры, преодолевая в себе все низменное, недостойное, наносное». Однако столь традиционная для нашей литературы тема оказалась не по силам писателю. Как говорит об этом критик, «за столбик» интересную проблему, автор неожиданным-негаданным образом эту проблему снял». Исследование характеров рабочих, их внутреннего мира, конфликтных ситуаций подменилось детективными историями, кражами, побегам. И это отнюдь не единичный случай. Рецидивы серой литературы отчетливо проявились в журнальной практике 70-х годов, чаще всего в эпигонской «деревенской», военной и производственной прозе. Естественно, что топчущаяся на месте, эксплуатирующая устаревшие ситуации и конфликты, производственная проза не может идти с энтэровским веком наравне.

Как очень точно и образно заметил известный критик А. Бочаров в недавней своей статье «К ядру и по касательной» (показавшей, что многие произведения нашей сегодняшней прозы «неслись по касательной», а не к «ядру» жизни), стремление иных литераторов «придержаться НТР» сходно с протестом прозы XIX в. против натиска «чумазога», вломившегося в вишневый сад¹. Но если певцам дворянских усадеб действительно претил цинизм и железная предпринимательская хватка капитала, то это вовсе не означает, что «великая русская литература XIX века осталась, по сути дела, «равнодушной» к технической революции своего времени. Полемизируя с этой точки зрения, В. Шапошников в статье «Парадоксы НТР и проблемы человеческого бытия» обращается к тургеневскому Базарову, к чеховскому фон Корену, публицистике Достоевского и Толстого, наконец к критическим статьям Добролюбова и Писарева. «Великая русская литература, — справедливо подчеркивает В. Шапошников, — и здесь оказалась на высоте — в том отношении, что сумела философски осмыслить и истолковать те новые веяния и умонастроения, которые возникли в обществе в связи с успехами и достижениями естественных наук». Мысли

¹ Бочаров А. К ядру и по касательной. Вопросы литературы, 1987, № 1.

критика о роли технического прогресса в минувшем веке, об отношении классиков к научным достижениям, рассуждениям о том, говоря словами Ф. М. Достоевского, «приучился ли человек XIX столетия «подступать так, как ему разум и науки указывают», — все это составляет основательный фундамент статьи Шапошникова, пожалуй, самой содержательной и острой из многочисленных выступлений исследователя на тему НТР. Центральный тезис статьи «Парадоксы НТР и проблемы человеческого бытия» несет в себе полемическое утверждение о том, что «научно-технический прогресс, став торжеством человеческого разума, интеллекта, не стал пока еще торжеством человеческой совести, духовности, нравственности».

Позиция В. Шапошникова, сурово критикующего слабые произведения «с разного рода научно-техническими сюжетами», не дающие сколько-нибудь значительных художественных открытий, не прибавляющие, по словам критика, ничего существенного к нашим познаниям о сокровенных тайнах человеческого бытия, не вызывает сомнений. Однако нельзя согласиться с исследователем, что якобы «чрезмерное» изображение «чистой наукой» и «чистой техникой» не дает значительного идейно-эстетического эффекта. Напротив, только через постижение процессов научного творчества, технической мысли можно интегрировать масштабный характер ученого, изобретателя, человека, олицетворяющего своими знаниями, делами, всем своим обликом принадлежность к творцам научно-технического прогресса. В. Шапошников можно всецело поддержать, когда он в объемистой и очень содержательной статье «В начале восьмидесятых»¹, посвященной развитию современного романа, иронизирует над «стальными рыцарями» эпохи НТР, некими «бездушными роботами», лишенными человеческой плоти, земных страстей и душевных привязанностей. Увы, такие герои, занятые двадцать четыре часа в сутки всевозможными технико-экономическими проблемами, поражающие своей односторонностью и прямолинейностью, к сожалению, не редко кочуют из произведения в произведение.

Д. Гранин, выступая на Всесоюзной творческой конференции писателей и критиков, проходившей в январе 1978 г. в Тюмени, высказал смелое, подкрепленное долгими раздумьями над книжным и журнальным потоком современной литературы, наблюдение: «Литература не может только славить. Нельзя работать только на вздохе. Кроме вздоха, нужен и выдох. Мы часто нарушаем соотношение утверждающего пафоса и обличительного гнева, которое составляет правду искусства и которое делает литературу активным соучастником жизни».

Обзор романистики 80-х годов позволяет В. Шапошникову выстроить определенный типологический ряд подобных героев, на первый взгляд, как будто далеких друг

¹ Шапошников В. В начале восьмидесятых. Заметки о современном романе. Сибирские огни, 1983, № 5.

от друга, но так или иначе воплощающих в себе идею «логичного человека». Речь идет о Сабитжане из романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день», Игоре Селзеве из сибирского повествования «Ягодные места» Евг. Евтушенко, Рейне Пийдерпуу — персонаже микроромана Э. Ветемаа «Сребропяхи» — героях, которым не ведомы душевные порывы, милосердие, сострадание.

Как видим, сибирский критик В. Шапошников немало сделал для изучения темы НТР в литературе, создав на протяжении нескольких лет цикл статей, посвященных этой насущной проблеме. Он рассмотрел ее в разных аспектах, привлекая при этом произведения писателей-сибиряков, — от производственных и экологических вопросов, стилевого поиска, образов «государственных людей» до роли ученого в научно-техническом прогрессе, его нравственных качеств, «парадоксов» духовного вакуума и «чистого интеллекта». Примечательно, что за всеми этими аспектами, проблемами, вопросами стояло главное: качество литературы, ее соотносительность с явлениями жизни, ее воспитательная роль и эстетическая действительность.

Проблемы научно-технической революции на современном этапе нашли свое отражение и в работах других сибирских критиков — новосибирца А. Горшенина, кемеровчанина (ныне живущего в Калининграде) Е. Цейтлина, барнаульца В. Горна, омича Э. Шика, иркутской исследовательницы Э. Тендитник. Интересна в этом плане критическая статья опытного новосибирского критика Н. Яновского «Заботы и тревоги Валентина Распутина». Правда, в отличие от В. Шапошникова, у этих исследователей нет специальных статей, посвященных теме НТР, однако ряд их наблюдений, положений, выводов, сделанных в этом направлении при изучении литературного процесса 70—80-х годов, очень существенны и вносят своеобразные и заметные штрихи в общую критическую картину. Так, А. Горшенин в статье «Требуется лидер», где рассматривается проблема положительного героя в прозе последних лет, уделяет внимание роману Д. Константиновского «Яконур», в котором «поставлен целый комплекс вопросов экономико-социального, философского и нравственного порядка, завязанного вокруг судьбы уникального озера. Но прежде всего это роман об ответственности человека дела за все, что он совершает на земле, будь это ученый или производственник, министр или рыбинспектор»¹. В многоплановом романе Д. Константиновского много героев самых разных профессий, но все они так или иначе участвуют в «проблеме» Яконура (прообразом которого, несомненно, является Байкал): на берегу озера выстроен химический комбинат, его промышленные стоки приводят к биологическому изменению водоема. Хочет привести здесь взволнованные слова В. Распутина о сибирском «священном море»: «...лятая часть мировых запасов пресной воды, которая дивной кра-

¹ Горшенин А. «Требуется лидер!» Новосибирск, 1985.

сотой плещется в Байкале, — это огромное, стратегическое богатство, дороже золота, нефти, дороже чего угодно, поскольку содержит в себе жизнь».

И так же, как при защите Байкала, автор «Яконура» особую роль отводит героям-ученым, чья принципиальная гражданская и профессиональная позиция может во многом определить ход событий. Но в «групповом портрете» научных работников, занимающихся проблемами Яконура, весьма разные лица: и подлинные бескорыстные ученые, и дельцы науки, и «соглашатели», и бездумные исполнители, наконец знакомый тип «стерильного технократа», который верит только в анализ. Понятно, создатель «Яконура», да и критик, всецело на стороне таких ученых, как академик Леонид Лаврентьевич (Элэл — так зовут его ученики), «чье имя не сходит с уст героев романа», он как бы наглядный символ человеческой цельности, научного долга, честности и принципиальности. Однако, как точно подмечает А. Горшенин, этот образ-символ лишен в романе движения и развития. И суть не в том, что автор наделил этого героя тяжелой недугом и приковал к постели. Внешняя статичность лишь подчеркнула отсутствие динамики характера руководителя научного коллектива, спроецировала «изначально готовую модель прекрасного во всех отношениях ученого и человека».

Эволюция характера как раз удалась автору в другом центральном образе романа «Яконур», в раскрытии исканий молодого математика, завлаба Герасима. И движение этого героя во многом определяет авторская концепция: защита озера требует от ученого нравственного максимализма, духовной зрелости, созревания гуманитарного начала в его душе. Сложный путь прошел герой Д. Константиновского, овладевая «простыми» истинами. Как замечает критик, «понадобится время и немалые затраты душевной энергии, прежде чем Герасим твердо определится в своей цели и прочно осознает себя в окружающем мире...»

Проблемы НТР А. Горшенин затрагивает и в литературном портрете С. Залыгина, особенно при разборе его романа «Южноамериканский вариант». Этот роман вызвал в начале 70-х годов много споров, полярных мнений, критических дискуссий. В заключение одной из них, проводимой журналом «Литературное обозрение», говорилось «от редакции»: «Мы полагаем, что в целом «Южноамериканский вариант» нельзя считать творческой победой интересного и заслуженно популярного писателя¹. Но прошло время, и один из первых наших романов о судьбе деловой интеллектуальной женщины в эпоху НТР стал оцениваться именно как большая удача автора. Сложный мир залыгинской героини Ирины Викторовны Мансуровой покорила читателя своим искренним стремлением через тусклую и суетную обыденность пробиться к большой любви, гармонии, счастью. Ее несложившаяся жизнь, непретворенные мечты обнаруживали подлинную

тревогу писателя за духовное неблагополучие эмансипированной женщины в век компьютеров и «домостроевских» кухонных обязанностей.

Известный роман С. Залыгина и сегодня открывает широкую возможность для глубоких и оригинальных сопоставлений, выводов, рассуждений. Однако интерпретация его А. Горшениным несколько суховата, подчас отдает прошлым восприятием, недооценкой прагматических законов бытия, по которым приходится существовать Ирине Викторовне — богатой и одаренной натуре. Вызывает, к примеру, возражение такой постулат критика: «Решая за двоих, Ирина Викторовна попросту не давала возможности мужчине проявить себя мужчиной, тем самым Рыцарем, о котором она так печется». Но ведь как раз драма героини и заключается в том, что она вынуждена «решать за двоих», ибо на самостоятельность не способны ни ее начальник-муж Мансуров-Курлилов, ни, как оказалось, человек, которого она полюбила — внешне столь деятельный, «загадочный» доктор наук Никандров. Вот почему воображаемый Рыцарь остается лишь в грезях Ирины Викторовны, воспоминаниях молодости о человеке, некогда позвавшем ее в Южную Америку, выдуманным «запасным» вариантом ее женской доли.

Недавно еженедельник «За рубежом» процитировал слова В. Распутина, опубликованные в американском журнале «Пипл»: «О каждом человеке на земле нужно судить по тому, что он сделал для природы». Человек и природа стала одной из болевых тем литературы в эпоху научно-технического прогресса. И центральная идея многих произведений последних лет — природа есть понятие нравственное, формирующее личность, определяющее непреходящие ценности ее духовного мира. Эта мысль доминирует и в работах сибирских критиков, посвященных анализу проблемы «человек — природа — общество». Так, критик В. Горн в юбилейной статье «Истоки нравственности»¹, подводящей «предварительные итоги» творческого пути алтайского прозаика Евгения Гушина, говорил: «Е. Гушин, как мне представляется, изображает природу лишь постольку, поскольку она дает ему необходимый материал для исследования ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА (выделено автором — Б. Ю.). Критик убедительно доказывает этот тезис на примере двух популярных повестей Е. Гушина — «По сходной цене» и «Храм спасения».

В первой повести ее герой рабочий Семен Табакаев терпит определенный крах своих жизненных надежд. И происходит это не только из-за постоянных компромиссов на работе, в семье, в воспитании единственного сына. «Убывание души» этого новоявленного дачевладельца, «хозяина бани и огорода» прямо связано с атрофией чувств к природе, неумением ощутить ее целестности. Критик справедливо подчеркивает, что этот негативный процесс воссоздан автором с болью, психологически многообразно и достоверно.

¹ Горн В. Истоки нравственности. Алтай, 1986, № 3.

¹ Литературное обозрение, 1973, № 6.

И напротив, в «Храме спасения» автор создает образ учителя словесности Светозара Асабина, который ищет в природе забвения от жизненных неудач, бежит в таежный заповедник, чтобы пройти своеобразное очищение. Но искусственное «опрошение» на лоне природы не создает гармонии в душе героя, новый мир «преподносит ему и неизвестные дотоле вопросы, ставит его в неожиданные ситуации». Тем самым автор (а это выделяет и критик) как бы говорит читателю: мир природы существует не сам по себе, изолированно от нашей сегодняшней жизни, ее социальных и нравственных ориентиров.

Эта мысль звучит и в статье «Гармония в стихийных спорах...», принадлежащей дебютантке О. Ким и опубликованной в коллективном сборнике молодых критиков Алтая «Истоки и источники». Статья посвящена творчеству алтайского прозаика И. Кудинова, автора романов «Стихия» и «Окраина», многих повестей (в том числе «Сосны, освещенные солнцем», где впервые в нашей литературе воссоздан жизненный и художественный путь великого русского пейзажиста И. И. Шишкина), ряда лирических рассказов. Действительно, тема человек и природа, одна из сквозных в поэтике И. Кудинова, прочно связана с духовным и нравственным миром его героев. Критик закономерно выделяет эти проблемы, делает их центральными в многообразной прозе писателя. И все же вызывает опасение, когда исследовательница пытается эту тему «сплошь» распространить на все произведения писателя. Так, конфликты романа «Стихия» О. Ким определяет как столкновение человека и природы, приводящее к «страшной катастрофе». Катастрофа на самом деле существует в романе. Пыльные черные бури, как наждаком, сдирают с земли ее плодородный слой. Но причина горького бедствия не только экологическая. Как точно заметил Н. Яновский, «И. Кудинов занял в романе граждански четкую позицию», показав и бездумную атаку на «травопольную систему земледелия», и последствия волюнтаризма...¹ «Стихия» в методах руководства хозяйством, теории и практике земледелия, наконец, в подборе кадров и должна была стать основой критических размышлений над остро злободневным романом И. Кудинова. Правда, необходимо оговориться: ошибка молодой исследовательницы представляется типичной, и в более солидных критических трудах прошлых лет социальный разбор нередко подменялся общим разговором о взаимоотношениях человека и природы. А эпоха научно-технического прогресса настоятельно требует, чтобы подобная беседа была отмечена сложным и ответственным социально-нравственным содержанием сегодняшнего дня.

В этом плане могут вызывать особый интерес исследования Н. Тендитник², отличающиеся последовательной позицией, пол-

мичностью, равнодушным вторжением критика в сегодняшнюю повседневность. Умением синтезировать в произведении общественные и морально-этические проблемы, ставить их во главу угла критического разбора. И в недавней своей статье «Никакая земля не бывает безродной...» эти публицистические свойства ее критического дара обнаруживаются во всей полноте. Статья представляет собой размышления критика о новой повести В. Распутина «Пожар», в которой нашли психологическое воплощение многие сегодняшние болевые вопросы. Герой повести простой рабочий Иван Петрович Егоров, бывший фронтовик, несет на своих плечах огромный груз ответственности, его высокое представление о миссии и долге человека становится своеобразной проверкой нашего всеобщего духовного потенциала. Ибо борьба с конкретным пожаром, разгоревшемся в приангарском леспрохозовском поселке, «неуютном и неопрятном», приобретает у Распутина символический характер. Почему случилась эта беда и как реагируют на нее люди — вот та социальная, нравственная доминанта (как говорит критик, «анатомия «бокового хода жизни»), определяющая корни этого талантливого произведения. Н. Тендитник отмечает: «Писатель сознательно идет на не полное совмещение идей повествователя и автора. Он не боится ответственности перед читателем за это резкое и честно обозначенное единодушие, единомыслие. Такой «поток сознания» — не наезженная литературная колея, а новый путь художника. И этот тревожный внутренний монолог-исповедь героя «обращен против настроений обреченности, приспособленчества, капитуляции перед обстоятельствами». В том числе и перед губительными издержками промышленного освоения, когда мощная техника «под гребенку» валит лес, не оставляя даже подростка. Когда «бивуачного типа» поселок стоит «вызывающе открыто, слепо и стыло», а у людей, живущих здесь десятилетиями, нет даже желания, чтобы в «палисаднике теплили душу и глаз березка или рябинка».

Все это, акцентирует внимание Н. Тендитник, не может не изменить «состав души» жителей Сосновки. Агрессия плана любой ценой, социальное безразличие, усиленное водочным дурманом, частые безобразия, хулиганство пришлых «архаровцев» создают трудную, тяжелую атмосферу в поселке, против которой и восстает герой «Пожара», его близкие друзья. И особенность этого эпического повествования состоит в том, считает критик, что, «вырываясь на поверхность» (т. е. изображая события внешнего мира), оно «снова уходит в глубины сознания, как укрепляет его драматизм, углубляет остроту противостояния человечности и совестливости сытой бездуховности и равнодушию». Да, этот вывод критика, наблюдения над поэтикой повести В. Распутина, безусловно, представляются глубокими и важными. Именно постижение автором диалектики души трудового человека наших дней, показ «крупным планом» его духовного и нравственного поиска и позволяют писателю с таким

¹ Яновский Н. Верность. Новосибирск, 1984, с. 250.

² Тендитник Н. «Никакая земля не бывает безродной...» (о повести В. Распутина «Пожар»). Сибирь, 1986, № 3.

мастерством передать драматизм обстоятельств жизни, опасность негативных процессов, сложность этого «момента истины». Не случайно Н. Тендитник заключает свои размышления словами о том, что «Пожар» вызывает к активизации требовательного морального чувства, к выходу из бездумного оцененения. «От нас самих, от совести и ответственности каждого, — утверждает критик, — зависит и душевное здоровье общества, и решение социальных проблем».

Четкость социального анализа в исследовании Н. Тендитник дает возможность читателю полнее понять новаторскую суть образа центрального героя повести В. Распутина, ощутить глубокую актуальность его новой вещи.

Обозревая критическую литературу сибирских авторов, посвященную проблемам НТР, нельзя пройти мимо исследования Е. Цейтлина «Жить и верить...» — «документального повествования о Викторе Чугунове, шахтере и писателе»¹. Кузбасский прозаик Виктор Чугунов рано ушел из жизни, успев издать лишь два сборника рассказов, отмеченных, как писала критика, «первородством характеров и ситуаций». Он был необычайно одаренный и цельный человек. «Беспреданно боролся с нехваткой времени. Росли на столе стопки черновиков, перебывали один другой замыслы... Бросить работу горного инженера? Вопрос этот вставал часто. Но Чугунов неизменно отвечал на него отрицательно. Ему казалось: если порвать с шахтой, уйдет изпод ног почва, на которой он выросал как писатель».

И с первой своей новеллы «Локомотив» до незавершенного рассказа «Товарищ Буховцев» люди труда занимают центральное место в его творчестве. Анализируя шахтерские рассказы В. Чугунова «За черными розами», «Полметра до катастрофы», «Красный Галактион», «Каллистратово бучило» и др., критик раскрывает перед читателем жизнеоснову этих произведений, стремление автора к яркой «производственной» детали, образу, реализму повседневности. Писатель уверен, что личность закаляется в испытаниях, приобретая трудовой опыт, что «жизнь в грубых кирзовых сапогах» на поверку может оказаться романтичнее и многообразнее бесплодных мечтаний о «красивой» жизни.

¹ Цейтлин Е. Жить и верить. Кемерово, 1983.

В документальном исследовании жизни и творчества В. Чугунова критик опирается на дневниковые заметки писателя, использует записи бесед с вдовой писателя, его друзьями, коллегами по писательскому и шахтерскому труду. Все это, естественно, полнее воссоздает портрет незаурядного человека, талантливого писателя, чье творчество оборвалось на полуслове. И самое ценное в критическом очерке Е. Цейтлина, безусловно, то, что, прочитав его, читатель верит: сибирский прозаик Чугунов наверняка бы создал еще запоминающиеся произведения, вошел бы в плеяду тех известных мастеров, книги которых так необходимы сегодня.

Совсем недавно журнал «Вопросы литературы» провел международный «круглый стол»: «Человек, общество, литература в условиях научно-технического прогресса». Среди его участников — видные писатели и критики Болгарии, Чехословакии, Венгрии, ГДР, Кубы, Советского Союза. Широкий круг вопросов был затронут на этой встрече: литература и духовное самочувствие общества, обновление всех сфер нашего бытия, литература в борьбе за духовность человека, научно-техническая мысль и процессы гуманизации, роль писателя, творческой интеллигенции в современном мире, литература и тревоги атомного века и т. д. Понятно, что участники «круглого стола» привели очень много конкретных наблюдений, замечаний, обосновали ряд ценных теоретических положений; высказали опасения, заботы, надежды. И хочется сослаться на мнение Л. Лазарева, которое содержит в чем-то итоговое значение. На вопрос, что должны делать литература и искусство в сложную эпоху научно-технической революции, в век атомной опасности и экологического «безрассудства», критик отмечает: «Они должны воспитывать, отстаивать, внедрять гуманистические идеи, только эти идеи могут быть основой нашего бытия, только они могут вывести нас из кризиса, в котором находится сейчас человечество. И если есть какое-то противодействие всем тем опасностям, о которых мы нынче говорим, — это последовательный гуманизм, свободный от любых шор».

Сибирская критика не отстает от этих кардинальных направлений социалистического искусства. Тема научно-технической революции отражена ею в многообразных аспектах борьбы за человека будущего — это «эмблема» нашей современности, обращенная к гармонии завтрашнего дня.

Анатолий КИРИЛИН

ОДИН ИЗ АРМИИ ДОБРОТЫ

Передо мной первая и единственная книга Евгения Гаврилова. Евгений Гаврилов — так значится на обложке, а для меня автор книги всегда был и останется Женей. Как, впрочем, и для многих других, близко знавших его...

На обложке портрет из его последних. Добрый, внимательный взгляд из-под очков, улыбка, такая привычная для всех. Волосы на этой фотографии у него длинные, успели отрасти и выпрямиться после кудрей, навитых ему в шутку подругами жены. Ерунда, говорили они, посмотрим, какой ты в кудрях, и тут же расчешем, как было. Но шутка оказалась не такой уж невинной: завивка держалась больше полгода. Для чего я здесь вспомнил об этом, рискуя шокировать иного из мужественных читателей — мужчина и — завивка!.. Мне представилась такая картина, довольно часто наблюдаемая в старых дворах, где соседи хорошо знают друг друга. Сидит взрослый, сильный человек, а к нему липнет ребятишка, играя, забываясь в игре, порой делая ему больно. Он не вскрикнет от боли, не сделает резкого движения, чтобы не напугать кого из малышей, не поломать им игру. По-моему, и с Женей было так: он не решился спугнуть веселье заигравшихся подруг, иным из которых — он это знал — так не хватало этого веселья в жизни...

Стройный, худощавый, порывистый, явился он в Москву на VIII совещание молодых писателей страны. Юные литераторы, удивительно быстро ориентирующиеся в обстановке, с особым интересом присматривались к тем из своих собратьев, кто уже был как-то отмечен в печати, устно упомянут кем-то из именитых, издал отдельную книгу, две... Женя в этом смысле особого любопытства к себе не вызывал. Но появился один человек... Он не был участником совещания по причине изрядного возраста для начинающего — за сорок. Хотя начинающим я назвал его по привычке — своей и многих — вести литературный хронометраж от книги к книге, от публикации к публикации. У Дмитрия Верещагина — так зовут того человека — было тогда опубликовано лишь несколько рассказов в двух-трех журналах. И тем не менее молодые писатели относились к нему с большим уважением — за рыцарское отношение к литературе, за бескорыстие и отвагу. Он «вредил» себе, отстаивая собственное слово на семинарах и в издательствах, бросив ли-

тературный институт с четвертого курса после серьезной размолвки — это касалось литературы, разумеется, — с руководителем семинара. Я помню, как он выставил из гостиничного номера, где молодые поэты читали стихи, московского литератора, члена Союза писателей, объяснив тому, что среди честных людей ему нет места. Мы знали, человек, оставшийся за дверью, обязан своими успехами вовсе не своим способностям... Тогда в Москве гордый, категоричный, неприветливый с виду Дмитрий Верещагин во всеуслышанье заявил, что единственным авторитетом среди собравшихся считает Женю Гаврилова. Позднее объяснил за что: за искренность, за чуткое отношение к слову, за умение смотреть и видеть...

Они познакомились в Ленинграде на одном из ежегодных семинаров, проводимых журналом «Костер». Жене тогда здорово досталось от юных собратьев по перу. Уже подведены итоги, в которых Гаврилову предназначалось сожалеющее покачивание руководящей головы, и вдруг поднимается хмурый человек по фамилии Верещагин, лауреат премии «Костра», один из лучших его авторов.

— Прошу внимания...

И вслух читает рассказ Жени Гаврилова «Венера». После аплодисментов, восторженных и виноватых слов — проглядели, дескать, — Дмитрий говорит все, что он думает в связи с этим о своих товарищах... Спустя некоторое время будет напечатан в «Костре» один рассказ Жени, другой, он станет лауреатом премии журнала, как и Верещагин...

На московском совещании мы с Женей попали в разные семинары. Ходим на обсуждения, знакомимся с литераторами из разных уголков страны, слушаем стихи и говорим, говорим... И вот последний день работы совещания. С трибуны большого зала гостиницы «Орленок» Женю называют лучшим из семинара Глеба Горышина. Через несколько дней его имя обойдет страницы литературной периодики, а пока мы догвливаем последние свои часы в столице. Идем в знаменитые бани, стоим в очереди за подарками его дочери Кате, глазеем на многочисленные соблазны и оправдываемся перед ними стихами нашего нового друга, опенбургского поэта Геннадия Хомптова: «Как быстро кончаются деньги в Москве!..»

Перед возвращением в Барнаул заезжаем в Рязань к моим родителям. Отсыпаемся после литературных всеношных гуляем по городу, ходим к памятнику Сергею Есенину и с мемориальной есенинской горки разглядываем приокские просторы. Женя вспоминает свою Волгу, Куйбышев, Жигули, зовет к себе на родину. Вот будет следующее лето... Да, будет лето...

Совещание рекомендовало к изданию книгу Евгения Гаврилова, но ему эта рекомендация была ни к чему. Его книга значилась в тематическом плане Алтайского книжного издательства на 1983 год, то есть еще за год до совещания. Женя сам забрал свою рукопись, одобренную рецензентами, сказав, что не считает книгу готовой к выходу. Бывший в то время директором издательства И. Березюк назвал этот поступок беспрецедентным в издательской практике. Обычно наоборот, автор что есть силы бьется за скорейшее издание своей книги.

Высокая требовательность к себе — мы по-разному понимаем эти слова, для Жени смысл их заключался в бесконечной работе над, казалось бы, уже готовыми рассказами. Он переписывал и переписывал, откладывая в сторону, десятый, пятнадцатый вариант, и я уверен, рассказы, вошедшие в сборник «Колесо обозрения», были бы переделаны еще не раз. Оттого зачастую подолгу не продвигалась его работа над новыми вещами: он вновь и вновь возвращался к написанному. В заметках, в замыслах остались многие рассказы, повести... Мы совсем недавно осмелились говорить о наркомании как о серьезной социальной опасности. Женя за несколько лет до смерти уже собрал обширный материал о малолетних наркоманах, о юных преступниках, изверившихся в жизни на самом ее начале. Повесть должна была называться «Заколоченные дачи». Заинтересованность в человеческих судьбах, желание разобраться в обстоятельствах, коряжащих эти судьбы, заставляли его с небывалой серьезностью относиться к своей общественной должности заседателя в народном суде.

Хотел я было сказать здесь еще об одном произведении, оставшемся на рабочем столе Жени Гаврилова, но это уже сделал — и, как мне кажется, достаточно убедительно — прозаик Иван Кудинов, написавший предисловие к книге Жени. «Думается, — пишет И. Кудинов, — не случайно Е. Гаврилов повесть свою, работу над которой так и не успел довести до конца, назвал символически — «Год человека», тем самым как бы подчеркивая и отстаивая непреходящую ценность человеческой души, равно как и всей его жизни...»

Вся жизнь литератора — сбор материала для работы. Женя накапливал его на заводе, где работал лакальщиком, на мебельной фабрике, в университете, в бойлерной, куда пошел на дежурство, чтобы, продолжая учиться, зарабатывать на семью. Так получилось, что очень рано он стал, как это принято говорить, главой в доме, где, кроме него, были три женщины: дочь, жена, мать жены...

Да только ли местом обитания оцени-

вается накопленный будущим писателем багаж? Где, скажите, надо работать или учиться, чтобы написать удивительный по глубине авторского сопереживания рассказ «Пишут Верке из Парижа»? Главная наука здесь, очевидно, — труд души, а слова — они найдутся, словам научиться легче.

Впервые мы встретились на занятии барнаульской литературной студии, которой руководил Евгений Гушин. Признаться, мне тогда Женя Гаврилов показался выскочкой, таким литературным мальчиком, поднаторевшим в спорах об искусстве. Он смело и резко судил обо всем и всех, часто используя в качестве доводов опыт российской, мировой словесности. Иногда создавалось впечатление, будто студенческий задор, с каким он обрушивался на своих товарищей, граничит с безжалостностью. Нескольким позднее я узнал, что он также требователен к себе, и уж эта требовательность действительно не знала жалости. Знания литературы у него не были случайными, это не верхушки, снятые с «умных» разговоров эрудированных любителей диспутов. Он был филологом не только по диплому, недаром по окончании курса год, и два, и несколько лет спустя его приглашали в университет на преподавательскую работу. Но, будучи студентом, он уже писал рассказы, повести и наперед не сомневался: это его дело.

При той же первой встрече я обратил внимание на подчеркнутую аккуратность в его одежде. С тех пор и до последней нашей встречи я всегда — в любую погоду, в любое время года — видел на нем светлую сорочку, галстук, отутюженные брюки, начищенные туфли.

Слово, литературное слово в особенности, по мнению Жени, не терпит попустительства — молодой, начинающий ты автор или опытный профессионал. Именно потому на обсуждениях рукописей, на семинарах он был резок, категоричен, порой драчлив. А вообще-то Женя слыл на редкость доброжелательным человеком. Те же самые люди, кого ругал он за неудачные литературные опыты, шли к нему за консультацией, несли свои рукописи, и он, забыв про собственные дела, читал, беседовал, советовал. Женя отнюдь не считал себя вправе быть наставником для таких же молодых литераторов, как он сам, поэтому советы его носили характер раздумий, размышлений. И всегда почти они вызвали у тех, кто приходил к нему, ответную мысль, давали некий заряд для продолжения работы.

Случилось как-то нам с Женей быть в гостях у одной московской литературной семьи. К домашней атмосфере, к тону и содержанию разговоров того вечера больше всего, на мой взгляд, подошло бы определение — чопорность. И вдруг я перестаю узнавать своего друга Женю, всегда улыбающегося, приветливого, доброжелательного. Он начал сыпать рискованными шутками, задирать хозяина — пришлось даже одернуть его... Через некоторое время я понял, в чем тут было дело. Женя не мог сми-

ряться с затхлостью в людях, которые, по его мнению, своей принадлежностью к делу обязаны быть живыми. Он, как мог, пытался взорвать стоялую духоту этого дома, освободить его обитателей от неких корсетов, в какие они сами себя затянули и не могут оттого вздохнуть полной грудью...

Всегда, где бы он ни появился, Женя приносил с собой ощущение жизни. Мне сейчас по истечении нескольких лет трудно передать словами чувства, захлестнувшие меня, когда в день рождения — совпал он с командировкой в Москву, — в номере гостиницы распахнулась дверь, и на пороге объявился Женя.

Читаю рассказ «Лещатник» и вижу, как сошлись в жизни Жени две великие наши реки — Волга и Обь. На берегу Волги он родился, рос и учился, а потом приехал в Сибирь и познакомился с Обью, чьи бескрайние заливные луга видны были из окна его барнаульской квартиры на Комсомольском проспекте. Жители Приобья, читая рассказы, найдут в них описания знакомых мест... А лещей, я точно знаю, Женя на Оби не ловил, на Волге — другое дело. Часто родители присылали ему в Барнаул из Куйбышева вяленых или копченых лещей. Женя обязательно приглашал «на рыбку» и рассказывал о своих рыбацких походах на Волгу.

«Лещатник» — первый рассказ сборника, и в нем сразу же встречаешься с характерной манерой Жениного письма: за описанием происходящего сейчас зримо выступает прошлое людей, истоки их судеб, характеров. Часто у него можно найти и такое: человека, как действующего лица, нет в рассказе, о нем лишь упоминается, и тем не менее в этом упоминании перед нами открывается судьба. Герой рассказа «Лещатник» Санька поспорил с «усатым дядькой» с турбазы, что обловит того на рыбалке... Обловил-таки. И, лежа у костра в окружении рыбаков, он «представил себе, что рядом сидит отец, что это он гудит сейчас над ухом грудным басом: а вот у меня был случай...» И концовка рассказа: «До приезда Санькиных родителей оставалось почти семь месяцев, точнее, двести двадцать три дня. И еще половинка сегодняшнего». В такой точности счета, конечно же, нетерпеливое ожидание мальчика. Но еще и другое, о чем в рассказе вроде бы не написано. Был дед, знаменитый на всю округу рыбак, после него слава удачливого добытчика перешла к отцу, но тот не пожелал держаться родного места, укатил с женой на заработки по вербовке. Остался сын Санька — и кому же, как не ему, поддерживать славу рыбацкого дома? Саньке трудно, городские приезжают с дорогими спиннингами, прочими хитрыми снастями, однако у Саньки есть надежный союзник — родная река, изученная вдоль и поперек, она не подведет. Трудно еще и потому, что надо по хозяйству бабке помогать, в школе учиться; да мало ли забот у человека, кроме рыбалки? Однако он торопит отца не только для того, чтобы тот помог в его трудностях. Санька напоминает человеку, нарушившему земную связь,

что время одуматься, вернуться к родным берегам. А может, он своим нетерпеливым ожиданием подсказывает отцу: тут она, наша сила, у нашей реки...

Читаешь книгу и замечаешь, как густо населены рассказы домашними животными — кошками, собаками... И дома у Жени было то же: птицы, хомячки, кошки... Это для дочери Кати. Он считал, что воспитать в человеке любовь ко всему живому очень важно...

Замечаю, как много в Кате от отца. Она рассказывает мне:

— У нас в классе есть девочка, говорит — заслушаешься, до чего убедительно, справедливо. А на деле — почти все время не придерживается своих же слов. Я не понимаю, как так можно?

Дважды ездили мы с Женей в Горный Алтай на заготовку папоротника. Деньги? Конечно, и подзаработать молодому литератору всегда есть нужда, но больше привлекало другое: тайга, здоровый труд на свежем воздухе — все это, считали мы, вроде обновления крови после долгих зимних сидений по городским квартирам. У меня уже был хотя и небольшой, но все-таки опыт сбора папоротника-орляка, потому удалось уговорить Женю везти с собой серпы. Потом смеялись над этими серпами и еще больше — над незадачливыми заготовителями, явившимися в тайгу с косами. Сейчас-то мало кто не знаком с хитрой технологией сбора, а тогда, в первые годы массового промысла, для многих она была откровением. Ох и много же росло этого папоротника в распадках, на покатых горных склонах! Казалось, никогда не иссякнет зеленое море, но нет, с каждым годом все тощее становятся плантации, и заготовителям все дальше приходится углубляться в тайгу на поиски новых папоротниковых зарослей. Зато людей, желающих поразиться на приволье, все больше, и они все безжалостней вытаптывают тайгу. Женя собирался писать об этом — вторая поездка имела своим главным назначением уже сбор информации, — да тоже вот не успел. Надо сказать, сама работа и условия жизни на таежных станах не для слабых. Два часа в наклон под солнцем или дождем, затем несколько километров с двухпудовым рюкзаком по склонам. Сдал приемщице сколько нарвал — и снова поклоны и переходы. И так весь световой день. Вода в двух-трех километрах от стана, носить ее приходится в полиэтиленовых мешках, вставленных в рюкзак, хлеба не бывает по неделе: бездорожье, привезти не на чем... Где-нибудь в середине дня, когда беспощадное солнце выгонит из тебя, кажется, последние соки, нагнешься за очередным ростком и думаешь: все, разогнуться уже сил не хватит. Обернешься к напарнику за сочувствием, а он вдруг:

— Слышишь? — И укажет пальцем куда-то вверх, где без удержу заливается невидимая птица. — Слышишь, мне кричит: Женя, пойдём!

И правда — похоже. «Угу, — скажешь себе под нос и подумаешь: — Однако и

мы пойдем». И застыдишься своей слабости.

Забавные случались в тайге встречи. Рядом с нашей палаткой становились бичи, тихие, удивительно тонкие в обхождении. Заготовка папоротника их занимала лишь настолько, чтобы прокормить себя сей день, беря у приемщицы продукты под запись. Завтра для них не существовало, они наслаждались вольницей и с утра до ночи варили на костерке цифир... Был развеселый Слава из Бийска, поссорившийся с женой и, как застала ссора — в городском костюме, в туфлях, примчавшийся в тайгу. Он прибился к нашему лагерю, внося свой пай — единственное, что успел прихватить по дороге — большущий куль макарон. Женя, комендант лагеря и начпрод, отделил ему часть одежды, ложку и место в палатке... Многие я забыл, а позднее вспомнил, листая Женины записки.

Знаю по себе, обилие материала, впечатлений зачастую мешает работать, тянет во все стороны, не дает возможности собраться, отделить необходимое. Тут, видимо, нужно время, чтобы увиденное и услышанное отстоялось, выстроилось и потом уже пошло по нужному руслу. С Женей, по-моему, было то же самое. Он пока что писал другое, надеясь по истечении некоторого срока вернуться к «папоротниковым» встречам, и не зная, как мало времени у него остается...

Мы уходили из тайги ночью. Больше суток сидели под дождем в ожидании транспорта, но дорога раскисла так, что машинам не пройти по ровному месту, а уж куда там — в гору, тягачи же, как нам стало известно, сломались и стояли брошенные где-то на полпути. Ждать не было смысла, и мы около полуночи отправились со стана. Темно, жижа заливается в голенища сапог, на спине пропитавшаяся за сутки влагой палатка, мокрая одежда, вдобавок голеностоп у меня распух и на каждый шаг отзывался колючей болью. А идти около трех десятков километров.

Пять часов мы шли, и все это время Женя пел, не просто так мурлыкал себе под нос — именно пел в полный голос. Вертинский, Окуджава, романсы разных времен и народов — чего я только ни слушался в ту ночь, поражаясь его памяти... Спустились мы с рассветом, прошли через деревню и остановились у трассы, надеясь поймать попутку до Турочака. Или запас песен у Жени иссяк наконец, или голос подсел — не удивительно! — но он продолжал концерт, выступая в другом амплуа: на гладком полотне дороги в танце изображал нечто напоминающее ритуал благодарения неба за это прекрасное утро. Да, танцевал после тридцати километров по сплошному месиву! Я сидел на рюкзаке у обочины, растирал большую ногу, смотрел на своего танцующего друга и думал: любые трудности становятся не такими страшными, когда рядом человек, влюбленный в жизнь.

Миром правит доброта — это я берусь доказать с книгой Жени Гаврилова в руках. К сожалению, — это уже не име-

ет отношения к книге — в иные моменты жизни доброта теряет лучших своих солдат, и тогда начинаешь понимать, как дорого достаются ее победы, как нелегко ей быть главной силой на земле...

Доброта в рассказах у Жени какой-то особой прочностью, закаленная — так вернее будет сказать, ибо носители ее, как правило, достаточно испытали на своем пути, шли к ней через обиды и лишения. Чаще всего юные герои встречаются с добротой на каком-то ответственном этапе своей жизни, но бывает и по-другому. В рассказе «Колесо обозрения» маленький Славка сталкивается с иными проявлениями человека — черствостью, невниманием, душевной глухотой. И тут Женя Гаврилов подсказывает еще одно, не менее важное: доброта изначально отпускается человеку как бы авансом за его звание — человек, а уж потом жизнь начинает испытывать его на прочность, на верность этому великому началу... Славкина доброта живет, она пытается оплодотворить все вокруг него, тем самым не давая смириться с черствостью. И только с ее высоты можно увидеть, «какие они маленькие отсюда, сверху», люди, обойденные талантом бережно относиться к чужой душе.

Нечто похожее видится за рассказом «Пишут Верке из Парижа», моим любимым рассказом из этой книги. Где-то на перепутье детства и взрослости оставлен всеми — родными, подругами, знакомыми — маленький человек. Дальше ему проливаться одному. Пьяница-отец, братья при своих растущих запросах не понимающие, как тяжело Верке одной, по сути, тащить семью... Ей бы возненавидеть их всех, бросить, по крайней мере, пожить для себя... «Вот возьму и уеду куда-нибудь, — подумала она. — Возьму и уеду. А вы оставайтесь. Как хотите, так и оставайтесь...» — И представила себе, как едет в вагоне поезда куда-то далеко-далеко, а за окном мелькают поля, горы, реки... На столике стакан с чаем в серебристом подстаканнике, и тонко позвякивает в этом стакане ложечка... Потом она поднялась с кровати и завела будильник. На без десяти шесть. Чтобы утром чуть-чуть, совсем немножко, десять минуточек, еще полежать».

Это конец рассказа. Никуда, понятное дело, Верка от них не уедет, утром опять пойдет на свою почту сортировать газеты, потом отправится разносить их, чтобы заработать деньги, которые все уйдут на семью. А ей опять не останется на новое платье. Верка мало знакома со счастьем, вроде бы искренне верит, — но это видимость, авторское лукавство, — что оно в лишнем часе сна, в новом платье... Сама она счастлива оттого, что журнал, опущенный ею в чужой почтовый ящик, нашел своего хозяина. Но вот что, мне кажется, самое главное: несмотря на такую малую малость отпущенного Верке счастья, мы, читая рассказ, понимаем, сколь великое счастье может обрести человек, сумевший разглядеть ее. Только вот беда, никто не вглядывается, никому нет дела, все довольствуются обманивыми внешними приметами счастья, не понимая, что оно такое есть — настоящее.

Письмо Жени отличает краткость, точное — лапидарность. Я уже говорил о его умении высветить одной фразой судьбу. Столь же емко на малой площади он может нарисовать характер человека, суть его отношений к другим. Верка приходит к своей подруге, студентке, спрашивает об институте, о новых нарядах — ей все интересно в жизни бывшей одноклассницы. А та единственным интересуется: «Да, там «Юность» еще не приходила?..» Вот и весь ее интерес к Верке. Ясно, не подруга она ей вовсе, не может быть другом человек, полностью обращенный к себе.

«Пишут Верке из Парижа»... Названием своим рассказ обязан реплике, брошенной девчонкой-почтальоншей в адрес героини, ожидающей письмо от неверного одноклассника. «А вот придет завтра Верке письмо из Парижа...» Все смеются — и автор улыбается вместе с другими. Улыбка у него горькая и в то же время обнадеживающая. Он не сомневается, что Верка достойна куда большего, чем имеет, уверен: в конце концов она обретет свое.

Какими путями шел к доброте, к пониманию чужой боли старый Флинт из рассказа «Если ты настоящий пират...», сочиняющий романтические истории с собственным участием? Об этом автор не говорит впрямую, но мы точно знаем: нелегким, как всегда. Женины рассказы надо читать очень внимательно, в них нет зряшного слова. От Петьки ушел отец, а мальчик никак не хочет смириться с этим, убеждает себя, что отец всего лишь задержался на рыбалке. Петька приезжает на берег реки, чтобы встретить пароход, с которым отец обязательно вернется. Здесь он и знакомится с Флинтом. Вроде ничего такого особенного не произошло, а мы видим: встретились две беды.

— Флинт, а у тебя есть жена? — немного погодя спросил Петька.

— Что? — сначала Флинт не понял вопроса, а потом как-то странно посмотрел на Петьку, и тот увидел, что глаза Флинта совсем голубые, как небо. Вдруг эти глаза странно помутнели, и Флинт отвернулся.

— У каждого настоящего пирата должна быть жена, старина Пит, — ответил он, — если ты, конечно, настоящий...»

Нам понятно, жены у Флинта нет. Что с ней, умерла или ушла, как отец от Петьки? Два одиноких человека, только Флинт куда старше, он понимает, что одинокому никак невозможно жить. У него собака Мурза, друг Михенч, а у Петьки теперь будет он, Флинт. Петька верит каждому слову Флинта, и совсем неважно, что мы то с вами знаем: все старый напридумывал. Автор, уважая нас, очень просто и тактично указывает на это кличкой Флинт, взятой из книги про пиратов.

Еще о цене слова у Жени Гаврилова. «Флинт полез в карман, и Петька только сейчас обратил внимание, что брюки у него мятые и с большой синей заплаткой на коленке. «Папа бы такие не надел», — подумал он». Много тут, в одной небольшой фразе: для мальчика — выгодное отличие

папы, несмотря ни на что; для нас — совсем другое. У папы все было — добротные брюки, мама, которая следила за стрелками на них и никогда бы не довела дело до заплатки. А он все-таки ушел. Что брюки — сын Петька не остановил...

Добрые люди не проходят по жизни незамеченными, остаются в благодарной памяти человеческой. Неспроста рассказ заканчивается Петькиным сном, в котором объединились самые близкие для него: «Рядом стоят папа, мама, Флинт с трубкой в зубах и добрый Мурза...»

«Венера». Не стану перечислять достоинства этого — не побоюсь сказать — мастерски ограненного рассказа. Остановлюсь на одном. Суть рассказа такова: родители обнаружили в учебнике своего сына, проявляющего первый интерес к живописи, вырезанную из журнала фоторепродукцию нагой Венеры. Мальчик несет заслуженное, по мнению родителей, наказание, а отец вспоминает расплату за свои детские грехи... А потом уже заплаканные, уставшие глаза закрывались тяжелыми, такими же горячими, как и слезы, веками под тихое бормотанье молитвы: «А еще прошу, господи, не за себя, за детей и внуков своих прошу...» Да, времена изменились, нам теперь и черт не страшен, и божья милость не нужна... А вот что нужно тому же маленькому человеку, вместе с веком обгоняющему нас, мы не всегда знаем. И тут, как уверен писатель, выход, верное решение подскажет все тот же третейский судья — Доброта.

Завершает сборник небольшой рассказ «Старый дед, глупый дед». Рассказ о том, как худо на земле одинокому человеку, и о том, как человек, сохраняя верность памяти, отказывается от облегчения собственной участи. Дед Иван приходит свататься к своей одинокой соседке.

— Слушай, Иван, — сказала вдруг Авдотья и как-то странно — как на незнакомого, посмотрела на него. — Ты Степана моего помнишь?

— Степана? А как же не помнить? Хороший был мужик...

— Вот и я помню. И ступай ты себе, ступай...»

«Доброта должна быть с кулаками». Мы с Женей спорили по поводу этого утверждения. Я, признаться, не очень-то был с ним тогда согласен. Вспомнил я об этом споре в кабинете следователя, который вел дело об убийстве Гаврилова.

— Мог ли Женя ударить кого-нибудь? — спросил следователь.

— Мог. Защищаясь или защищая...

Но он — литератор, и слово его было куда сильнее кулаков.

Жил рядом с нами молодой человек. Внимательно смотрел на мир, улыбался солнцу. Писал рассказы для детей и для взрослых. Сажал деревья, воспитывал дочь. Написал хорошую книгу. И это немало, если учесть, что прожил он всего двадцать девять лет, и все оставленное им на Земле рождено его добротой.

**СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА «АЛТАЙ»
за 1987 год**

ПРОЗА

- БОРОДКИН Петр. Председатель губкома. Повесть о Присягине. № 3.
БРОВКИН Владимир. Корова на луне. Рассказ. № 4.
ЕРШОВ Леонид. Два рассказа. № 2.
КАЗАКОВЦЕВ Анатолий. Рассказы о В. И. Ленине. № 1.
КИРИЛИН Анатолий. На белом коне. Повесть. № 1.
КОЗЛОВ Юрий. Версия. История одного поиска. № 3.
МОРОЗОВ Вячеслав. На зимней дороге. Рассказ. № 4.
ОРЛОВ Сергей. Радость. Рассказ. № 4.
ПЕШКОВ Александр. Варя. Отрывок из романа. № 4.
ПРИМАКОВ Иван. Партийная характеристика. Повесть. № 2.
РОДИОНОВ Александр. Танцующая глина. История одного исследования. № 1.
СТЕПАНОВ Виталий. Лето в Нижне-Озерном. Из записок публициста. № 2.

ПОЭЗИЯ

- БАЛАКИРЕВА Надежда. Родные лица. Стихи. № 1.
ВОЛОДИН Геннадий. «Понять язык своей души...» Стихи. № 2.
ГЕРДТ Вольдемар. Утешение. Утро. Тайна. Гостеприимная изба. «Пора мальчишеских грез...» Стихи. № 4.
ГУСЕВ Александр. «Ведь мы живые, мы не из металла!» Стихи. № 2.
ИВЕРСКАЯ Ираида. Приходит праздник к нам... Стихи. № 1.
КАПУСТИН Борис. «Научись кормить снегирей». Стихи. № 2.
КОЗЛОВА Людмила. «Война не встретилась со мной...» Стихи. № 1.
МЕРЗЛИКИН Леонид. Голос родины. Стихи. № 1.
ОЗОЛИН Вильям. Стихи разных лет. № 2. От Невы и до Катуня. Поэтическая переключка. № 3.
Ощущение крыла. Стихи молодых поэтов. № 4.
ПАНТЮХОВ Игорь. Корабль друзей. Стихи. № 2.
РЯБЧЕНКО Георгий. Сделай шаг! Стихи. № 1.

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

- БРОВАШОВ Сергей. Бийский эксперимент. № 4.
НЕВСКИЙ Александр. «...Не поле перейти». Записки партийного работника. № 3.
ШЕРСТНЕВ Николай. Ответственность. № 2.

**К 150-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА**

- ШВЕЦОВА Елена. «И мнится, слышу их...». № 1.

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ГРИШАЕВ Василий. «Сибирский рассвет». Из истории культуры Алтая. № 3.
ВОЗЧИКОВ Вячеслав. Заветы отчего дома. № 2.
КАЗАКОВ Владимир. Книги и герои. К 60-летию со дня рождения В. Сидорова. № 2.
КАШИРИН Сергей. Горизонты лирики. № 3.
КИРИЛИН Анатолий. Один из армии доброты. № 4.
МАРКИН Павел. Путь к человеку. Традиции Ф. М. Достоевского в творчестве В. М. Шукшина. № 1.
ПЕТРОВ И. Иван Ерошин — поэт революции. № 3.
СЕРЕБРЯНЫЙ Виктор. Если любишь. К 70-летию со дня рождения Н. Н. Чебаевского. № 1.
ЮДАЛЕВИЧ Борис. Эмблема современности (Научно-техническая революция в литературе и критике). № 4.

**К 70-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Г. ДВОРЦОВА**

- Николай ДВОРЦОВ. Река времен. Предисловие Т. Дворцовой-Гушиной. № 4.

САТИРА, ЮМОР

- КРАСНОВ Вадим. Мини-басни. № 1, 4.
РЕПИН Л. Мавр. Рассказ. № 1.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

- ПЛЕСОВСКИЙ Виктор. От весны и до зимы. Стихи. № 2.
ШЕВЧЕНКО Виталий. Димкины картинки. № 1.

Цена 50 коп.

На первой странице обложки:
«Заснеженный город». Фото А. ЕМЕЛЬЯНОВА

